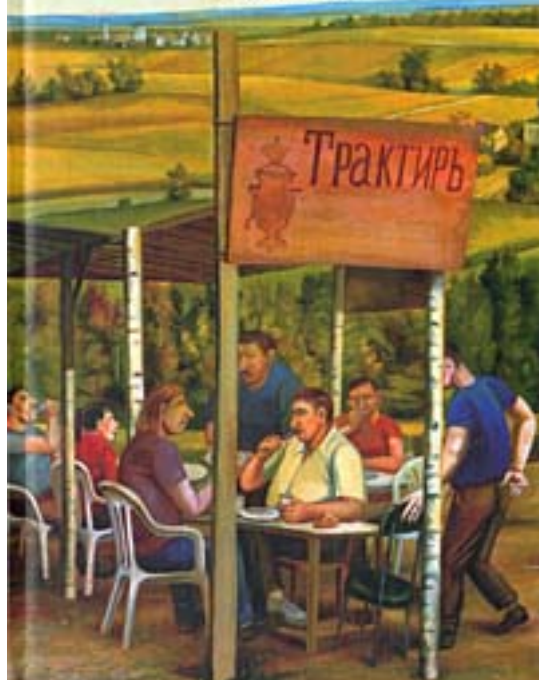


Владимир ОРЛОВ

Приморские в Николаевском
После дождя в четверг



Владимир Викторович Орлов
После дождика в четверг

Zmiy

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=128214

В.В.Орлов. Собрание сочинений в шести томах. Том 1: ТЕРРА-Книжный клуб; Москва; 2001

Содержание

О себе	4
1	7
2	11
3	14
4	19
5	24
6	29
7	36
8	42
9	49
10	52
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Владимир Орлов

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ

О себе

Я – москвич в четвертом поколении (предки мои были подмосковными – Можайскими и Дмитровскими). И проза моя – московская. Правда, юношеские увлечения на несколько лет переносили мои интересы в Сибирь. Но и увлечение Сибирью свойственно москвичам.

Родился я 31 августа 1936 года. Тридцать два года прожил в коммунальной квартире посреди Мещанских улиц, южнее Останкина и Марьиной рощи. На 1-й Мещанской окончил школу, потом этой же улицей троллейбусом ездил на Моховую – там и теперь размещается факультет журналистики МГУ. Годы те – конец пятидесятых – были шальные, веселомечтательные, с брожением умов и идеалов. На факультете больше митинговали и творили, нежели учились. Меня в ту пору привлекало кино. Я простодушно полагал, что именно кино заменит собой литературу, живопись и музыку. Но после третьего курса мне пришлось прекратить сценарные старания, как и занятия спортом. Заболели родители, и средства на прокорм семьи я был вынужден добывать репортером знаменитой тогда четвертой полосы «Советской России». В 1957 году я впервые попал в Сибирь, сначала на алтайскую целину, потом на Енисей. В дипломную работу вошли очерки о строителях дороги Абакан-Тайшет. После защиты диплома меня пригласили в «Комсомольскую правду». Там я и проработал десять лет. В разных отделах. Много ездил и писал. И скоро понял, что одними очерками, корреспонденциями и репортажами я не смогу передать свои впечатления и суть своей натуры. И отважился писать вещи протяженные. По ночам, утром перед работой (на работу, естественно, опаздывал). И вот в 1963 году в журнале «Юность» был опубликован мой роман «Соленый арбуз» (роман экранизировали, спектакли по нему шли в театрах Москвы, Минска, Красноярска), а в 1968 году – роман «После дождика в четверг». Сочетать ремесло и прыть газетчика с несуетным искусством прозаика было невозможно, и я в 1969 году из «Комсомолки» ушел. На вольные хлеба (с 1965 года был членом СП СССР). Хлеба эти оказались тощими и трудно обретаемыми. Да и в моих издательских делах пошли дожди. Лет семь меня почти не публиковали. Набирали мои тексты и разбирали. Возможно, у кого-то, недреманного, наверху, возникло соображение, что ничего хорошего от меня ждать не следует. К тому времени во мне угас романтизированный оптимист. Все очевиднее становился социальный мираж, в каком мы жили. Преуспевали же в нем циники и обманщики, они-то этот мираж для своих нужд и оберегали (и теперь они же преуспевают). Я живу под знаком Девы. Стало быть, человек благоразумный. Вернее, благонамеренный и фаталист, принимающий реальность как данность, в коей я изменить ничего не могу. Я не скандалист, драться не люблю, а может, и не умею. Для меня идеальный человек – Иоганн Себастьян Бах. Он был типичный бюргер, добывал блага для семьи, искал выгодные места службы, любил пиво, лупил палкой дурных учеников. А в своих творениях поднимался в небесные выси. Бывая в Германии, я объездил многие места, связанные с жизнью автора «Кофейной кантаты» и «Страстей по Матфею». Позже я понял, что прототипом моего Данилова был прежде всего именно Бах.

Но я отвлекся... Просто семидесятые годы еще раз подтвердили мне истину – в творческой судьбе русского литератора существенным должно быть терпение и способность сохранить самостоятельность своей личности. И необходимо делать то, что ты умеешь и любишь делать. В 1972 году я закончил роман «Происшествие в Никольском», его набрали в «Новом мире», два года я жил надеждами, но цензура мои надежды отменила. Подзарабаты-

вал я тогда «внутренними» рецензиями и даже перевел для Детгиза повесть «с лезгинского». Лишь в 1976-м просветленно-изуродованное цензурой «Происшествие» выпустил «Советский писатель». А я уже наполовину написал «Альтиста Данилова», не думая, понесу ли я его куда-либо, и потому пошел на издательский компромисс. «Происшествие в Никольском» – бытовая драма. Когда я писал «Происшествие», некие свойства моей натуры (воображение, скажем), видимо, были угнетены и требовали освобождения и выхода. И я неожиданно для себя написал рассказ о любви останкинского домового (жил я уже в Останкине). Рассказ, к сожалению, был опубликован лишь через шестнадцать лет. Я люблю сказки, фантастику, в детстве был заморожен мхатовской «Синей птицей» и чистым, догригоровическим «Щелкунчиком». Среди самых уважаемых мною писателей – Апулей, Рабле, Свифт, Гофман, Булгаков, и потому естественным вышло мое обращение к жанру магического реализма. Три года происходило тихое, но и с чудесами продвижение романа «Альтист Данилов» в недрах «Нового мира», и в 1980-м он был наконец напечатан. Интерес к нему публики (и у нас, и во многих странах мира – роман издали в США, Германии, Франции, Японии и т.д.) оказался и для меня удивительным. Я испытал состояние человека, услышавшего медные трубы. Оно вышло для меня утомительным и наскучило (хотя и не сразу). А вот «Аптекарь» (тоже тихо продвигался к публикации в «Новом мире» два года) впечатления не произвел, страна была уже политизирована, и на меня досадовали – не отразил злобу дня. Но меня-то интересуют ценности вечные. Впрочем, тогда я посчитал невнимание к «Аптекарю» объяснимым: кому нужна моя проза, и литература вообще, когда появилось столько умнейших людей, чьи речи и благородно-честные лица и меня приманивали к экрану телевизора! Несколько лет сочинял лишь эссе. Но однажды ощутил, что писать мне необходимо (натура требует!). Хотя бы для самого себя. Для собственного душевного и житейского равновесия. И начал роман «Шеврикука, или Любовь к привидению». Журнал «Юность» печатал его кусками по мере завершения мною сюжетных блоков. Как и почти все другие мои сочинения, роман вышел импровизационным. В 1997 году я поставил в нем точку. Получилась третья часть триптиха «Останкинские истории» («Альтист Данилов», «Аптекарь», «Шеврикука»).

Среди прочих побудительных причин к написанию «Шеврикуки» была и следующая. В 1989 году я согласился стать руководителем семинара в Литинституте. Я вынуждал своих студентов выполнять обязательные (на мой взгляд) работы, требовал от них новых сочинений, а сам-то – что же, сам-то каков? Неловко выходило... Нехорошо... Сочинение «Шеврикуки» неловкость сняло. Уговаривали меня прийти в Литинститут долго. Я отказывался, полагая, что не способен к этому занятию и что вообще нельзя кого-либо научить стать писателем (ну, не писателем, литератором, я чрезвычайно уважительно, даже с трепетом отношусь к слову «писатель», себя же держу в разряде сочинителей). Но с ходом времени понял, что, как человек более литературно-переживший, могу помочь творческому развитию семинаристов. Занятия увлекли меня, а в дрызге нынешней смуты и свары принесли и столь необходимое человеку ощущение полезности собственных дел. Происходило и взаимовлияние. Призывая студентов второго (для меня) семинара писать вещи детективные (многие не умели строить сюжет), исторические (дабы ощутить не только горизонталы, но и вертикали бытия), я и сам отважился взяться за роман остросюжетный, с свидетельствами пусть и недавней истории Отечества (условное название – «Бубновый валет»).

Из смежных искусств более всего почитаю музыку (ставлю ее выше литературы), живопись и театр. Благодарю судьбу за то, что среди моих приятелей много художников, музыкантов и актеров. За «Шеврикуку» мне присуждена премия Москвы в области литературы и искусства. Получал я ее в хорошей компании – с Таривердиевым, Лундстремом, Джигарханяном и др. Партия любителей пива, имея в виду роман «Аптекарь», наградила меня литературной премией – «за мистическое освоение русской пивной мысли». Награда состояла из ящика ирландского пива «Гиннес», и я принял ее с благодарностью и удовольствием.

27 апреля 1999 года
Владимир Орлов

1

В окно смотрела лошадиная морда.
Терехов отодрал голову от подушки.

Он не удивился бы, если бы увидел, как по склону сопки, прямо перед их общежитием, под соснами, проехал, урча, трактор, или старенький воронежский экскаватор, или дребезжащий вагон трамвая. Даже если бы нырнул в распадок самодовольный сверкающий поезд метро, он и тогда глазом бы не моргнул, а продолжал спать, потому что благодуствовало воскресенье и можно было спать хоть до ужина. Но секунду назад он услышал конский топот, и звук этот в их поселке, привыкшем к машинам, так удивил его, что Терехов сбросил одеяло и соскочил с кровати.

Он натягивал выцветшие тренировочные брюки, спешил, никак не мог ногой попасть в левую штанину, злился, а по коридору уже бежал кто-то, хлопал дверьми, спрашивал Терехова, и кто-то кричал, указывал на третью дверь справа.

Дверь отворилась резко. Незнакомый приземистый парень, в меховом треухе, надвинутом на лоб назло дождливому июню, в кирзовых сапогах, подошел к Терехову, буркнул что-то и сунул ему в руки аккуратный пакет, склеенный из газеты.

– Вы Терехов? – спросил он запоздало.

– Я, – сказал Терехов.

Парню было лет тринадцать, он смотрел хмуро, молча переступал с ноги на ногу, словно движением этим и мрачным выражением лица хотел сказать, что ему надо спешить, что впереди у него дела более важные и срочные и что он, Терехов, мог бы побыстрее ковыряться с этим паршивым пакетом.

– Он ответ просил... – сказал парень.

Пакет был от Ермакова. Вчера днем кофейная пронырливая «узка» с красными крестами на радиаторе и на спине увезла прораба Ермакова в больницу села Сосновки, на ту сторону Сейбы. Ермаков был бледный, кашлял, матерился непривычно тихо и улыбался виновато, когда вспоминал о своей температуре: «Надо же, тридцать девять с половиной... прихватила, сушеная палка!..»

В пакет были вложены два листка бумаги в линейку и пять канцелярских кнопок.

По первому листку торопились крупные ермаковские буквы: «Ищут воспаление легких. К великой радости, начались еще и приступы язвы. Придется тебе командовать. Не тужи. Выдержу. Тереби начальство. Отсыпайся по воскресеньям. Пять кнопок я посылаю для того, чтобы ты сегодня же мог пришить приказ к доске объявлений. Может быть, одна из кнопок сломается. Жму руку. Ермаков».

Приказ был отпечатан машинкой на втором листке и сообщал, что бригадир третьей бригады Терехов Павел Андреевич назначается исполняющим обязанности прораба участка Сейба.

«Ну вот, – подумал Терехов. – Большая радость. Не было печали!..» Он расстроился, потому что все было некстати: и болезнь Ермакова, и его сегодняшнее назначение, и вообще все было некстати. Он и сам не понял, что он имел в виду под этим «вообще все», он только вспомнил, что вчера произошло что-то скверное и досадное, и выбросить из жизни это скверное и досадное было нельзя.

– Он просил ответ, – сказал парень.

– Да... Я сейчас... – пробормотал Терехов. – А почему он тебе машину не дал?

– Меня послал доктор...

Терехов сунул руку в ящик стола, стал двигать цветными карандашами и кисточками, вытащил толстый красный карандаш, подумал: «Начальственный, очень нужен для автори-

тета» – и написал на обороте листка в линейку: «Выздоровливай, Александрыч. Глотай таблетки. За нас будь спокоен».

Записка нырнула в карман синей куртки, парень повернулся молча и пошел к двери, стараясь быть взрослым и деловитым.

– Погоди, – сказал Терехов. – Как он там?

Парень остановился на секунду, пожал плечами удивленно, словно сказал: «А я почему знаю?» или «А что с ним такое может случиться?», и вышел из комнаты, хлопнув дверью.

Терехову уже не раз приходилось сталкиваться с жителями Сосновки, села старого, кержацкого, выросшего, может быть, еще во времена протопопы Аввакума, рядом со скитом, и он знал эту манеру всех сосновских, взрослых и пацанья, молчать и хмуриться при встрече с незнакомыми. Терехов быстро натянул сапоги и, сам не зная зачем, пошел за парнем сонным еще коридором, темным и узким.

Голую спину и грудь его тут же исколол холодный дождь, он моросил всю ночь не переставая, и терпения у него оставалось еще, наверное, на несколько дней. Сопки, дальние и ближние, казались мокрыми, и серые куски тумана, оторвавшиеся от серого неба, – куски грязной небесной ваты – лежали на них. Все: и длинные щитовые дома поселка, и штабеля досок и бревен, и деревья, поднимавшиеся от Сейбы к общежитиям, а потом выше, в серые куски ваты, казались потерявшими цвет и размытыми дождем. И даже вода в ручье, бежавшем к Сейбе, обычно прозрачная, игравшая в радугу солнечными лучами, была мутной и грязной и била, суетясь, в камни на берегах и корни деревьев.

Терехов ежился, мотал головой, сбрасывая с коротких волос капли, ему хотелось бежать в сонное тепло общежития, но парень подвел лошадь к ручью, и Терехов уже не мог оторвать от нее глаз.

Лошадь пила воду. Приземистая, гривастая, она наклонила голову к мутной воде, шея ее напряглась, а ноги, короткие и сильные, вросли в жижистую землю. Парень трепал ее по загривку и шептал ей что-то ласково и таинственно, словно колдовал, словно только для нее и мог найти и слова и улыбку. Терехов смотрел на мокрые бока и спину лошади, коричневые, отмытые дождем, видел, как вздрагивали под тугой кожей начиненные энергией мускулы, и завидовал сосновскому парню. Так и в детстве он, выросший в фабричном городке, завидовал деревенским мальчишкам, гонявшим коней в ночное на Острцовские и Ольговские луга. И каждый раз, когда он видел ребят, разъезжавших верхом, ему казалось, что он лишен чего-то извечного и прекрасного и этого извечного и прекрасного не смогут заменить никакие радости, связанные с машинами, и что он утерял умение, переданное ему предками, и всегда в таких случаях он испытывал необъяснимую тоску и стыд.

Парень вывел лошадь на дорогу и тут же, словно кто-то невидимый подсадил его, оказался в седле. Терехов быстро пошел за ним и крикнул:

– Погоди!

– Ну? – обернулся парень.

– Нет, езжай, – махнул рукой Терехов, так и не придумав слов, которые могли бы задержать нарочного из Сосновки и остановить время.

Парень, наклонившись, сказал что-то лошади, похлопал рукой по ее спине, его трех вздрогнул, и вздрогнули его плечи, и лошадь пошла по грязной, бурой дороге, а потом побежала, понеслась, и замелькали ее упругие коричневые ноги, мокрые, блестящие, быстрые, замелькали под зелеными ветками, и капли и куски грязи летели от них в стороны, а парень в синей куртке сидел на мокрой спине лошади лихо, ловко, чертом, словно был привинчен к ней или отлит вместе с ней на Каслиновом заводе, и движение лошади и его было так красиво, что Терехов стоял и смотрел на них и не обращал внимания на холодные струи, бежавшие по его груди и спине.

Терехов решил наплевать на дождь и холод и облиться водой не из рукомойника в коридоре, как он делал обычно, а прямо из мутного ручья. Он плескал воду ладонями на грудь и на спину, она обжигала, и Терехов смеялся и фыркал от удовольствия.

Ему было радостно и от этой ледяной, обжигающей воды, и оттого, что он чувствовал себя здоровым и сильным, чувствовал каждый свой мускул, и оттого, что секунду назад он любовался движением по дороге лошади и парня, и даже оттого, что он и сейчас еще ощущал запах этой лошади, пившей в двух шагах от него воду.

Он разминался под соснами, сбрасывавшими тяжелые холодные капли, придумывал упражнения потруднее, нарочно, чтобы почувствовать еще резче, как сильны его мускулы, а поделав упражнения, стал прыгать и бегать рывками вдоль общежития, и даже намокшие сапоги, к которым прилипла грязь, не мешали ему. Он смахивал ладонью со лба и носа дождевые капли, подпрыгивая, шлепал руками по сосновым веткам и прыгал снова, пока не вспомнил, что день вчера был дрянной и ничего не изменилось.

Он опустил руки и понял вдруг, что ему противен этот колющий мерзлый дождь и противно серое, тоскливое небо. Руки и грудь его тут же покрылись гусиной кожей, а для того, чтобы разогреться, нужно было продолжить зарядку. Но желание прыгать и приседать в грязи под дождем пропало, и Терехов, наклонив голову, думая о вчерашнем, побрел в общежитие.

Событий вчера произошло много, и ничего, кроме огорчений, они ему не принесли. Но среди них одно особенно расстроило его и вот теперь не давало покоя. И он понимал, что его расстроило, и все же пытался обмануть себя, иначе объяснить свое дурное настроение.

Хорошего и впрямь случилось мало. Болезнь скрутила вчера Ермакова, и Терехову было жаль прораба, человека пожилого, искалеченного в войну, уставшего в последние сумасшедшие недели. Без особой радости Терехов подумал о том, что теперь на его плечи взвалены хлопоты поселка, отрезанного от начальства и цивилизации тридцатью километрами размытой дороги.

Невеселой получилась и встреча с начальником поезда Будковым, неизвестно как сумевшим пробраться на Сейбу из своей таежной столицы. Будков был встревожен то ли болезнью прораба, то ли еще чем, подбадривал Терехова, таскал его на мост и просил за мостом следить. Будков, несмотря на их прежние стычки, Терехову нравился, и вчера Терехову хотелось сказать начальнику поезда что-нибудь доброе, успокоить его, но на шутки Будкова он отвечал ворчанием, и теперь ему было стыдно.

Тяжелым был у него вчера разговор с тремя парнями-дезертирами, сбегавшими в трудную пору со стройки. Парни были отличными рабочими, очень нужными сейчас, и все же они бежали, и никакие душевспасительные разговоры не могли тут помочь.

Кроме всего прочего, Терехов повздорил с лохматым неудачником Тумаркиным, трубачом, которого он переносил с трудом из-за его каждодневных несчастий. И мало приятного было сознавать, что хорошие рабочие уезжают, а остается Тумаркин с длинными, костлявыми, ничего не умеющими руками и с трубой, надоевшей, как песня «Тишина».

Были вчера и другие события, вызвавшие у Терехова раздражение и досаду, а под вечер от Рудика Островского Терехов узнал, что Олег Плахтин и Надя решили сочетаться законным браком и подали заявление в Сосновский сельсовет. Олег и Надя были его лучшие друзья, самые близкие, все на Сейбе уже давно догадывались об их отношениях, и Терехов расплылся в улыбке, выслушав Рудика. Однако было странным, что новость эту ему пришлось узнать от Рудика. Сегодня Терехов уговаривал себя не думать об этом, и все же перед глазами стояло вчерашнее лицо Олега, как будто незнакомое, и Терехов видел снова, как дергалось левое веко Олега и его левая щека.

«Ну и что! Ну и что тут такого? – подумал Терехов. – Ну, волновался человек...»
– Терехов! Павел! Иди кидать железку!

Он был уже у крыльца общежития, и парни, окружившие штангу, окликнули его. Терехов, любивший возиться по утрам со штангой и двухпудовиком, помотал головой и пошел в свою комнату.

Он открыл дверь и увидел Олега. Плахтин стоял у этажерки и отбирал книги.

– Доброе утро, – улыбнулся Плахтин.

– Здравствуй, – сказал Терехов.

– Ты чего такой мрачный? – удивился Плахтин.

– Мрачный? – спросил Терехов. – Устал, наверное.

Он снял с гвоздика желтое вафельное полотенце и стал медленно растирать кожу. Кожа горела, и было приятно.

– Забираю вещи, видишь, – Плахтин показал на открытый чемодан, – книжки и еще кое-что. Знаешь, мы ведь решили с Надей пожениться... Заявление вчера подали...

– Слышал, слышал, – стараясь предупредить Олегово объяснение, заговорил Терехов.

– Ты чем-то расстроен, – сказал Олег, – я ведь вижу...

– Ничем я не расстроен, – буркнул Терехов.

– Ты обиделся? – спросил вдруг Олег.

– На кого?

– На меня и на Надю... Мы ничего не сказали...

– Какие тут могут быть обиды!

– Я ведь вижу...

– Слушай, перестань! – раздраженно сказал Терехов.

Он даже сам удивился, что может говорить таким неприязненным, даже враждебным тоном с Олегом, как с чужим, и, смутившись, протянул ему ермаковский приказ.

Олег рассмотрел листок и покачал головой:

– Да-а-а... Большой начальник...

Терехов подошел к стулу и стал надевать рыжую ковбойку. Ковбойка была сшита из грубой, шершавой ткани, способной пойти на мешки для гвоздей. Он надевал ее лениво, потому что спешить было некуда.

– Слышал радио? – сказал Олег. – Было новое покушение на де Голля.

– Страшно меня волнует де Голль, – сказал Терехов.

– На этот раз хотели из пулемета...

– А-а! – Терехов поморщился. – У французов все серьезное кончилось в девятнадцатом веке. Теперь осталась одна оперетта.

Он ворчал, словно злился на французов, словно всерьез верил, что им осталась одна оперетта. А злился он на себя, потому что соврал Олегу, да и себе самому, – вовсе не ермаковский приказ был причиной его расстройства.

– Вот и все, – Олег взял набитый чемодан и пошел к двери. – Слушай, приходи к нам. И Надя просила. А то будешь скучать. У нас веселее...

– Вам теперь хорошо, – сказал Терехов.

– Да, нам хорошо, – сказал Олег. И вдруг щека его снова задергалась.

Он быстро открыл дверь и сказал уже с порога:

– Я не прощаюсь. Ты заходи...

– Ладно...

Терехов застегнул длинную, как удар рыцарского меча – от шеи и до пояса, молнию лыжной куртки, причесался – перед зеркалом поводил янтарной полиэтиленовой щеткой по мокрым волосам, и надо было идти в столовую. Он сунул в карман листок с приказом Ермакова и пять серебристых канцелярских кнопок.

2

Дождь усилился, и Терехов по армейской привычке двигался к столовой короткими перебежками – от сосны к сосне. По дождь был нахальный, и капли его прыгали за шиворот.

У домика конторы Терехов остановился.

Метрах в пяти от него, прибитая к двум планкам, мокла доска объявлений. За стеклом, забрызганным дождем, желтели сводки и приказы, сочиненные прорабом Ермаковым.

Терехов, угрюмо сбывчившись, нерешительно прошагал пять метров и отодвинул стекло вправо. Он достал из кармана белый листок и канцелярские кнопки.

И тут он вороват оглянулся, словно делал что-то запрещенное или постыдное, чего другим не следовало видеть. Словно бы прикреплял к фанере ругательную листовку с матерными словами. «Вот ведь ты какой стеснительный, – подумал Терехов, – застенчивый какой».

И все же он был рад, что никто не видел, как он прикрепляет приказ на самого себя, обошелся двумя кнопками, резко сдвинул стекло влево и прыжками побежал в столовую.

Столовая пытела, стучала ложками и ножами, выщелкивала куцые чеки, дымила, теплая, шумная, светлая, посмеивалась над непогодой и угрюмыми ватными облаками.

Терехов потоптался на пороге, стряхивая холодные капли, взял поднос и встал в очередь.

Он здоровался со всеми, потому что знакомых не было в этом теплом, сытом зале. Он кивал, говорил мрачно: «Привет... Доброе утро...», тоном своим отбивал у всех охоту перекинуться с ним привычными шутивными словами. И к подавальщице Варе он обратился мрачно, и черные Варины глаза удивились, и плечи ее дернулись, изобразили: «Вот тебе раз!»

Терехов отнес тарелки с хлебом, вареной теплой вермишелью, жареной печенкой, посыпанной луком, и два стакана кофе на свободный столик и плюхнулся на желтое фанерное сиденье. Он загреб вилкой вермишель и понял тут, что у него нет аппетита и что зря он взял два вторых – обычную свою утреннюю порцию, вполне мог бы обойтись стаканом кофе и куском хлеба.

Он жевал лениво, нехотя, мял пальцами черный липкий мякиш, а когда поднял голову, увидел на стене, напротив, зеленоватых лебедей.

Лебеди плыли парами, тянули свои лебединые шеи к белым кувшинкам, похожим на лотосы, отражались в черной болотной воде.

Лебеди были зеленоватые, как белок подтухшего яйца.

Мохнатые, склонялись над ними пальмы, на их ветвях танцевали мартышки, а за пальмами, облапив желтые стволы двух сосен, улыбался толстый и добродушный саянский медведь.

Выскочивший из-за голубых гор, спешил к лебедям красный паровозик с дымом, тащил по фиолетовой насыпи четыре игрушечных вагона – мышинный поезд из уголка Дурова, и машинист с чубом, похожим на паровозный дым, высунув голову из окна, курил важную коричневую трубку.

Розовое солнце, четырехугольное, похожее на флаг, выползало из-за голубых гор, предвещало теплую сонную одурь и всеобщее благолепие под пальмами и соснами.

Лебеди плыли, улыбался медведь, спешил паровозик, и так уже в сотый раз, и всегда Терехов, входя в столовую, старался не наткнуться глазами на пятиметровый саянский мираж и все же каждый раз видел зеленоватых подтухших лебедей и розовое солнце.

Мираж был написан масляными красками на изнанке заурядной столовой клеенки. В тот день, когда прораб Ермаков притащил с абаканского базара два произведения искусства,

Терехов стоял возле них долго, а потом зачем-то потрогал розовый четырехугольник. Солнце было шершавое, все в пупырышках. «Ну как?» – спросил Ермаков. Он ждал одобрения и старался быть спокойным. «Ну...» – начал Терехов, а потом спросил: «Это ты, Александрыч, истратил деньги, которые положили на трансформатор?» – «И свои еще добавил! – Ермаков махнул рукой. – Такое посчастливится встретить раз в год. В три года. Ни на одном участке нет, а у нас будут свои картины...» – «Да, – сказал Терехов, – картины...» – «А что?!» – обиделся Ермаков.

Он слыл упрямым человеком, этот прораб Ермаков, и уж если что взбрело ему в голову, то, значит, дело было конченным и решенным. Терехов знал это прекрасно и потому робко посоветовал прорабу выкинуть клеенку подальше. «Ведь только подумай, – сказал Ермаков с сочувствием к неизвестному художнику второй половины двадцатого века, любителю мохнатых пальм и розовых солнц, – из чего он всю красоту добыл...» Он оправдывал его и восхищался им. «У Пиросмани красок было не больше и тоже клеенка перепала, – сказал Терехов, – а получалось». – «Ну ладно, какие еще Пиросмани! – взвился Ермаков. – Интеллигенты. Формалисты! Правильно вас газеты ругают за всякие там абстракции... Вот повесим картину в столовой, вот посмотрим, что народ скажет...»

И хотя лубок на клеенке был ничем не лучше размалеванного гипсового кота, поставившего спину пятакам и гривенникам, статуэтки с бантиком, все сейбинские терпимо отнеслись к его появлению на стене столовой. Пусть ерунда, а все-таки как-то веселее стало. Пусть бумажный, но цветок. Ермаков ходил счастливый и не припоминал Терехову его заблуждений. Он и второй кусок клеенки, купленный для своей лично комнатухи, не смог удержать дома и решил им украсить сырую стену механической мастерской. Кусок этот был поменьше первого и изображал берег моря, солнышко, песочек, солнышком нагретый, дырявую покосившуюся хижину и пальму, похожую на сосну. Море с пальмой принесли хоть чуток тепла и света в их дыру с прославленным микроклиматом, из-за которого отопительный сезон в поселке растягивался на десять месяцев.

Терехову виделось, как сидел Ермаков у себя дома в серой тоскливой комнате, попивал чаек и смотрел на темно-синее море и рыжее солнце, причмокивал от удовольствия и приговаривал: «Что же я эту красоту у себя запер...»

Олег Плахтин горячился, нервничал, требовал, чтобы убрали из столовой и мастерской эту пошлость, грозился написать в «Комсомолку» или «Литературную газету». А Терехов молчал. В душе он даже уважал убежденность прораба, с которой тот доказывал, что картины он приобрел нужные народу и красивые. К тому же Ермаков искренне хотел хоть чуть-чуть расцветить серость сейбинского общественного быта, и многие парни и девчата хвалили покупки, и Терехов смирил свой протест.

– Привет, начальник!

– Привет, – кивнул Терехов.

Он поднял голову и увидел у своего столика Виктора Чеглинцева. Чеглинцев возвышался над ним столбом-колокольней, дымил сигаретой, смеялся озорными раскосыми глазами, словно подмигивал.

– А-а, землепроходец, – равнодушно сказал Терехов. – Послезавтра, что ли, сбегаете?

– Нет, начальник, завтра. А через пяток дней будем точно в заданном районе. – Лицо у Чеглинцева было довольное, глаза все подмигивали, спрашивали: «Ну что, подразнить, что ли, тебя, начальник?»

Случалось, Чеглинцев называл его комиссаром, а теперь вот нашел иное слово.

– Ты чего, – спросил Терехов, – видел приказ?

– А то как же, – сказал Чеглинцев. – Увидел – снял с себя чепчик и начал бросать его в воздух. Вот ведь, думаю, новый премьер-министр. Губернатор острова! Начальник грязе-лечебницы!

– Ладно, – мрачно сказал Терехов и принялся за вермишель.

Чеглинцев уходил от него к буфетной стойке, расшаркивался на каждом шагу, направо и налево, скалил свои ровные, чересчур хорошие для нашего века зубы, и его физиономия вызывала у всех улыбки.

Он подошел к буфету и встал в очередь за Тумаркиным.

Этот Тумаркин, этот унылый губошлеп, притащился со своей знаменитой трубой и теперь держал ее неуклюже под мышкой.

Чеглинцев покровительственно похлопал Тумаркина по плечу, и тот дернулся и скривил губы: ну конечно, какое у него еще могло быть отношение к подлому дезертиру.

Они стояли вместе, Тумаркин и Чеглинцев, и, оказавшись рядом, смешили людей, как Пат и Паташон или еще кто-нибудь в этом роде.

Тумаркина, наверное, собирали из деталей детского «конструктора» в кружке Дома пионеров, создатель его был человеком рассеянным и недобросовестным, а потому в Тумаркине все разваливалось, все в его костлявой большой фигуре было нелепым и нескладным и, казалось, ждало только толчка, чтобы разойтись на составные части.

Грудь у Тумаркина была вогнутая, а у Чеглинцева выпуклая. Если бы Чеглинцеву дали потренироваться побольше, он бы вполне мог схватить приличный приз на конкурсе туристов где-нибудь в Польше или во Франции.

Чеглинцев играл с двухпудовиком, как с котенком, выдумывал шуточки, забавлявшие публику. Терехов не раз гонял с ним мяч в одной команде, и всегда ему доставляло удовольствие смотреть на круглые коричневые Витькины бицепсы и крепкие быстрые ноги, пулявшие кожаный шарик с такой силой, что штанги, казалось, покачивались от испуга.

Чаще всего Терехову приходилось с Чеглинцевым ругаться. И все же Чеглинцев вызывал у него чувство симпатии и даже восхищения. Это было восхищение жизненной силой, подаренной Чеглинцеву природой, силой, которая бурлила в нем и ломала его. Севка как-то глядел, глядел на Чеглинцева и вспомнил строчки из новгородской былины. Он не ручался за точность слов, но, по его мнению, сказано о богатыре было так: «Сила по жилочкам переливается, тяжело от бремени этой силушки...» Вот и Чеглинцева, как Ваську Буслаева, тяготила силушка, переливалась по жилам, сосудам и удавчим мышцам.

Чеглинцева любили на Сейбе все, и особенно женщины, и особенно подавальщицы сейбинской столовой. Терехов тянул сейчас горячий кофе и смотрел, как они обслуживали Тумаркина и Чеглинцева. К Тумаркину было проявлено полное безразличие. Чеглинцеву девчата притащили самое лучшее и даже то, чего в столовой вообще не было.

Чеглинцев уже шел вдоль столиков со спортивной сумкой в руках, обаятельный и шумный, и все улыбались ему, а Терехов вдруг представил себе свою мрачную физиономию и подумал: «Вот кому быть прорабом, с такой улыбкой... А то я... Только портить людям настроение...»

– Слушай, начальник, – наклонившись, шепнул Чеглинцев, – часа через два в нашей комнате даем прощальный обед. Медвежати́на в лучшем виде. Будем ждать, как генерала.

– Как же! – хмыкнул Терехов. – Сейчас прибегу. Всю жизнь мечтал с вами отобедать.

– Ты не ломайся. Тебе же лучшего желаем. А то скучаешь... Я вот и приправу тащу...

– Иди, иди. Как-нибудь сам развеселюсь!..

– Брезгуешь, начальник, рабочим классом?

– Иди, иди...

3

А дома, в общежитии, было вправду скучно, и Терехов, повалявшись на застеленной кровати, встал, убрал книжку в тумбочку, достал кривоватый маленький ящик, самодельный, сбитый из кусков фанеры, заменявший ему этюдник, и положил в ящик два листа бумаги и карандаши. Он надел плащ и прихватил прозрачную хлорвиниловую клеенку, очень способствовавшую в последние дни его творчеству. Под дождиком, но грязи добирался до деревьев, и в тайге шагать было легче. Минут за пять он добрался до поляны, до светло-зеленой плешины на склоне сопки, и увидел внизу летящую коричневую Сейбу, худые низкорослые березы и осины на ее берегах и дальние крыши Сосновки, вырывавшиеся из ключев белесого тумана.

Сначала он посидел на пне, на толстом мокром еловом обрубке, посидел тихо, словно проверял, на месте ли распадок, Сейба с ее узенькой лесистой долиной, сопки, большие и малые, и прочие окрестности, не смылись ли они за ночь куда-нибудь в теплые края с развеселой ослепительной жизнью. Но все было на своем месте, все как полагается, поразительно благонравная досталась Терехову земля. И тогда Терехов стал глядеть на молоденькую осину, вылезшую из серых замшелых камней на самом краю поляны, густое, невысокое деревце, из-за которого он и приходил сюда в последние дни.

Осинка была маленькая, ровная и обыкновенная, и Терехов вначале никак не мог понять, почему его тянет рисовать эту осину. Тем более что прежними набросками своими он был недоволен, ворчал на себя, рвал бумагу и все же шел сюда, к серо-зеленой проплешине, словно осинка эта была заколдованная. Но потом Терехов понял, что дело тут именно в заурядности этой осины, уж такой он человек, такие уж у него дурацкие интересы, его и во Влахерме в студии фабричного Дома культуры крыли не раз за его привязанность к обыкновенному. Он тогда ругался и спорил, доказывал, что раз уж ты берешь в руки карандаш или кисть, раз уж ты мараешь холст и бумагу, ты должен ткнуть людей носом именно в обычное, обратить внимание других на всю красоту и жестокость их жизни, кажущейся заурядной, жизни со всеми будничными мелочами, чтобы люди умели ценить ее. Но все это были разговоры, и велись они давно, а вот теперь он не мог нарисовать осину.

А ему очень хотелось черными ударами карандаша и белыми пятнами передать на бумаге девичью стройность осины, блеск ее мокрых темно-зеленых листьев и капли, изумрудинами застывшие на них, и очищенную, отмытую, голубоватую кожу ствола, выделанную из лесной слюды, и косой безнадежный падающий дождь, и тоску всей этой притихшей, промокшей тайги, тоску последних ее дней по доброму и жаркому солнцу.

Дождь все шел, и надо было устраивать для бумаги укрытие. Терехов отыскал в траве две осиновые жердины, заостренные им, воткнул, вбил их в землю у елового пня и чистенькую прозрачную клеенку навесил на жердинах, отобрал у дождя пространство для свободной бескапельной республики. Положил на пень этюдник, прикнул лист к чуть шершавой фанере и на корточках, согнувшись, с карандашом в руке, сидел, смотрел на осину и на распадок за ее спиной.

Рисовал неуверенно, расстраивался, топтался на месте, как топчется на желтом песке прыгун, чувствующий, что узенькую планку он собьет все равно. Терехов прекрасно знал, что творчество – это сосредоточенность, может, кому-то и везет с вдохновением, а у него – одна сосредоточенность, и никуда тут не денешься, просто нужно все, что есть в нем, поймать, сфокусировать, свести в одно; как ловит, как сводит толстое увеличительное стекло рассеянные солнечные лучи в колющее жаркое шило, способное воспламенить дерево, вот так и сосредоточенность, только она, все, что есть в нем и в мокрой тайге, черным графитом карандаша – черным шилом – может передать бумажному листу.

Но толку от его усилий было мало, и дерево не вспыхивало, а мысли Терехова все скакали, и он потерял надежду, что сегодня у него будет удача.

И, поняв это, он стал водить рукой рассеянно, безвольно, и уже не контуры осины оставались после движений его карандаша, а какие-то неровные круги, которые потом стали превращаться в женские лица. Одно из них показалось Терехову похожим на Надино, и тогда он нарисовал рядом лицо Илги. Дождь шуршал по клеенке, капли его скатывались по хлорвиниловым ложбинкам, и брызги вспрыгивали на белый лист, измученный карандашом. «А ведь он нервничал, нервничал... – подумал вдруг Терехов, и снова встало перед его глазами лицо Олега Плахтина. – А-а-а! Пошло все к черту!»

Ему не хотелось сейчас думать об Олеге и о причинах своего дурного настроения, он решил снова попробовать сосредоточиться и приручить карандаш, но через минуту он сказал себе: «Нет, ничего не получится. Что тут может получиться при таком дожде. При таком холоде...»

Терехов поежился, переменял положение ног, карандаш все ползал по бумаге и чертил что-то, а Терехов думал о том, как может опротиветь холод, и вспоминал солнечные дни своего детства во Влахерме.

Это были хорошие дни, и с ними Терехов связывал свое представление о тепле.

Плавилось все: и воздух, и рельсы железной дороги, и асфальт на шоссе, пропечатанный, измятый босыми ногами пацанья, и солнце плавилось, истекало маревом, а Терехов валялся на горячем бетонном боку лотка у самой зеленовато-черной воды канала и знал, что в любую секунду он может прыгнуть в теплую ленивую воду, тащившуюся от Волги к Москве, и наслаждался этим знанием.

А вокруг визжали мальчишки поменьше, шлепались в воду с трехметровой стены лотка, орали, били по воде руками, швыряли красный резиновый мяч и выкарабкивались по камням на берег с сияющими глазами и посиневшими губами, худые, жилистые, коричневые. И оба травянистых берега от моста и до шлюза с бронзовыми каравеллами были забиты коричневыми людьми, они валялись на зеленых откосах, гоняли мячи, хохотали, дремали, прикрывшись от солнца полотенцами, дулись в петуха, заигрывали с девчонками, счастливые, нагретые солнцем люди.

А потом появлялся кто-нибудь и кричал, захлебываясь от радости: «Плоты!», и все было ясно, и надо было вскакивать с горячего бетонного бока и бежать к шоссе, а потом цепляться за проезжающий в сторону Дмитрова грузовик и лезть в кузов, пахнувший бензином, лежать в нем, да так, чтобы шофер не заметил, а потом, перед самым Дмитриевым, выпрыгивать с криком на горячую мякоть асфальта и нестись снова к каналу. Орущая толпа влахермских мальчишек и девчонок бежала к каналу, чтобы перехватить плот в пяти километрах от шлюза с бронзовыми каравеллами, и Терехов, конечно, был среди них, длинный, костлявый тогда, совсем черный от загара, и тоже кричал и показывал пальцем в сторону старенького буксира-брызгуна, пыхтящего вдали, стучавшего по воде деревянными лопатками колес.

Буксир шел бокастый, крепкий, коричневый, из породы «стахановцев», бутафорски чистенькие ведра выстраивались на бортах его собратьев в слова «Мирон Дюканов», или «Алексей Бусыгин», или «Никита Изотов», и другие имена образовывали они, имена предвоенных титанов, знакомых Терехову по учебнику истории и по желтым листам уцелевших газет. Легкие, юркие речные трамваи проскакивали мимо коричневых работяг, успевая прогудеть отрывисто, и разодетые туристы махали руками копошившимся на корме буксира матросам. Трамваи мальчишками были прозваны «летчиками» за их легкий ход и за их имена: «Водопьянов», «Молоков», «Громов». И уж совсем степенно проходили мимо буксиров белые красивые теплоходы, волжские лайнеры, один из которых в фильме «Волга-Волга» принял на борт делегацию Мелководска с затонувшей «Севрюги», и на белых ослепительных боках лайнеров величаво темнело: «Иосиф Сталин», «Клим Ворошилов», «Вячеслав

Молотов», «Михаил Калинин». На прекрасные теплоходы эти мальчишки любили смотреть, плавали же к ним без особой охоты, потому как волны от них были слабые. Вот буксиры, когда они шли без плотов и барж, волны нагонять умели, ревели, стучали плицами, и в волнах за ними покачивались счастливые мальчишки и девчонки, сбежавшиеся со всей Влахермы: они уже за полчаса знали, что в шлюзе стоит пустой буксир.

Но пустыми буксиры бывали редко. Работы у них хватало, и они тянули и толкали мимо булыжных берегов с кустиками акации, посаженной каналстроевцами, старые приземистые баржи, забитые шинами, автомобилями, пшеницей, желтым речным песком, и длинные, стянутые жадными стальными тросами плоты. Волга работала, тащила на своей горбине всякие тяжести, доверяла их буксирам и самоходкам.

Когда буксир подползал ближе и виден был отчетливо трос, шлепающий по воде, все с криком, не сговариваясь, бросались в канал, плыли, и Терехов плыл со всеми, фыркал, резал угол, стараясь попасть на первую связку мокрых бревен.

Он спешил, хотя и знал прекрасно, что плот по воде не убежит, никуда не денется, и все же старался плыть быстрее и на связку выбирался из воды как-то судорожно, обдирая голые бока о проволоку и острые обрубки бывших сучьев. Он выпрямлялся, стоял, сощутив глаза, и солнце с секунду смотрело ему в лицо, а потом надо было бежать в конец плота, прыгая с бревна на бревно, потому что так было принято у влахермских мальчишек.

Так было принято, и Терехов прыгал, балансируя, раскинув руки, бежал по сосновому бревну и снова прыгал через зеленоватое разводье. Иногда промежутки между связками были большие, и прыгать было опасно, но все прыгали, и даже маленькие шкеты, и Терехов знал, что никто из них ни разу не оступился и не свалился в воду. Иногда ему вдруг хотелось сорваться и упасть в воду или даже самому прыгнуть в зеленоватый промежуток, самый узкий, чувствовать, как сходятся деревянные айсберги, как они собираются раздавить, подмять его, потом, пошутив с ними, он все равно бы вынырнул где-нибудь сбоку от плота, живучим и смеющимся. Желание приходило, и все же Терехов прыгал четко и далеко, бежал со всеми мимо крохотного шалашика, мимо спокойных плотогонов, жевавших жареную рыбу.

Терехов первым прыгал на концевую связку, проходил ее уже медленно, ложился на бревна так, чтобы солнцу было легче жарить его тело, опускал руки в воду, отстававшую от плота, и закрывал глаза.

Он слышал, как рядом устраивалась шумная ребятня, как брякались на соседние бревна Севка, Олег и Надя. Они еще болтали с минуту, но Терехов молчал, и они замолкали.

Терехов так и лежал, уткнувшись носом в лохмотья сосновой коры, в лохмотья великана, еще несколько недель назад росшего за Керженцем, у града Китежа, в ветлужских лесах, слушал все звуки на берегу и на плоту – гудки, разговоры и всплески воды, – а солнце жарило ему шею, спину и ноги. Иногда Терехов открывал глаза, и зеленые аккуратные берега уплывали назад, утаскивали с собой коричневых купальщиков, брезентовые копенки сена и одиноких белых коз, перенаселивших в те годы Влахерму. Терехов поворачивал голову, видел сияющие глаза Севки, Олега и Нади и подмигивал им и показывал большой палец. Было здорово, они оставались наедине с солнцем, с плывущим пропеченным воздухом, с шелушистыми стволами великанов и теплой волжской водой, тут никакие слова ничего не могли передать. А за мостом на берегах кишели счастливые люди, словно справляли здесь какой-то языческий праздник, праздник теплой воды и лета, и Терехов снова подмигивал ребятам и показывал большой палец. А за мостом скоро уже был шлюз, а перед шлюзом их кусочек берега, укутанный бетоном, и они снова прыгали в воду, расставались с плотом, плыли, фыркая, к лотку. Время было беззаботное, без отметок в зачетных книжках и нарядов, и солнце было беззаботное, ласковое Ярило.

Потом прыгали на берегу, швыряли волейбольный мячик, бегали зачем-то, дурачились, и все время Севка, Олег и Надя были возле него. Севка сопел сосредоточенно, он все делал сосредоточенно и молчаливо, словно переваривал что-то, даже по мячу бил, задумавшись; у Олега светились глаза, а Надя бегала, успевая напевать только ей известные песни, и длинные ноги у нее были ссажены на лодыжках и на коленках. Все они были лет на пять моложе Терехова, ему вообще везло на недоростков – мелкота так и вилась вокруг Терехова, потому что он был знаменитым в городе спортсменом, подавал надежды, красиво гонял мяч и шайбу и нырял лучше всех. И каждый раз, когда он появлялся на берегу канала, пацаны заискивающе просили его нырнуть. Терехов никогда им не отказывал, он знал: его «подвигами» малолетки хвастают, даже играют в «Терехова», как он когда-то играл в «Хомича», и он нырял, проплывал под водой половину канала, метров сорок, плыл в черноте, иногда касался руками камней, из которых было выложено дно, а потом, когда канал, тяжелевший с каждой секундой, начинал придавливать его к этим камням, Терехов шутя летел вверх, пробивал головой теплую у поверхности воду и видел, как ребятишки махали ему с берега. Еще, по их просьбе, он, взяв в руки камень посolidнее, чтобы держал на дне, под водой по бетонной дорожке проходил до середины канала, а потом бросал камень, и канал выбрасывал его наверх. Иногда за Тереховым увязывались Надя и Севка, и Терехов слышал, как сзади стукали, скрипели, укладывались, камни, брошенные ими, сначала Надин, потом Севкин. Севка качался на волнах метрах в двух сзади, и когда Терехов на глазах у публики подплывал к теплоходу, спешившему из Москвы в Астрахань, матросы орали ему что-то свирепое и махали кулаками, а Терехов все же успевал дотронуться рукой до ускользающего белого борта, и ребятишки на берегу приходили в восторг.

Но главные фокусы надо было показывать в августе, в пору лопающихся стручков акacias, когда буксиры тащили в Москву из-под Камышина и Сталинграда баржи с арбузами. За баржами плелись черные пустые лодки, на боках барж висели пузатые шины, отбегавшие свое по сухопутью. Лодки и шины эти были предателями, они помогали Терехову тихо и быстро на ходу забираться на арбузные баржи. Терехов словно снимал вражеский пост или, как Айртон в «Таинственном острове», пробирался на корабль к пиратам, плыл беззвучно и в лодку влезал тихо, подтягивался на шину и оттуда на баржу, к юре полосатых арбузов. Потом на баржу выкарабкивался Севка, тащил во рту деревяшку, вроде бы кортик, глаза у него поблескивали озоровато и чуть-чуть испуганно. Можно было бы хватать арбузы и прыгать в воду сразу, но так выходило неинтересно, и Терехов с Севкой стояли и ждали до тех пор, пока кто-нибудь из экипажа не замечал их. Речники с криком выскакивали из каюты, завешанной мокрым бельем и рванными тельняшками, неслись к ним, матерились, а Терехов с Севкой все стояли, со спокойными лицами, как им казалось, и только в самый последний момент, когда их могли уже схватить, они с воплем прыгали вниз, плыли к берегу кролем, гнали перед собой арбузы по-ватерпольному.

Ребятишки на берегу съедали эти два арбуза вместе с корками и только нахваливали. Один Олег Плахтин отказывался от протянутого ему сахарного ломтя, он говорил, что не будет есть краденое. Олег был сердитый, стоял со сжатыми губами и казался Терехову похожим на Тимура или на кого-нибудь из молодогвардейцев. Терехову становилось стыдно, но только на секунду, а потом Терехов доказывал самому себе и всем, что дело тут не в арбузах, а в том, как они с Севкой, рискуя жизнью, пробрались на вражеский корабль, взяли «языка» и под непрерывным огнем фашистов доставили его на берег...

Все это было очень давно, в детстве, в жаркие дни, а сейчас сыпал дождь, и Севка где-то в тайге километрах в сорока от Сейбы ковырялся со своим трелевочным, а Олег Плахтин переезжал в семейное общежитие вместе с Надей. «Ну, хватит, хватит...» – сказал себе Терехов. Но он понимал, что уж тут ничего не поделаешь, что все равно он будет думать об одном и хорошо бы, скорее вернулся Севка.

Терехов прихлопнул этюдник, сунул его под мышку и пошагал в поселок.

4

В коридоре пахло жареным мясом.

Дверь была закрыта, и Терехов постучал. Сердитый Чеглинец высунулся через секунду и расплылся в улыбке. «А-а, начальник! Как же, ждали, ждали!» Суровый Василий Ипольнов привстал из-за стола и подался вперед, словно грудью желал закрыть бутылки на столе. Соломин, согнувшийся над плитой, повернул голову и улыбнулся заискивающе.

– Думал, думал и надумал, – сказал Терехов, – недокормили меня в столовой.

– Ну чо ж, – проговорил Ипольнов, – если недокормили...

Глаза его смотрели прямо на Терехова, в упор и вроде бы посмеивались.

– Нет, – сказал Терехов, – уговаривать я не буду.

– И на том спасибо, – кивнул Ипольнов.

– Садись, садись, – зашепшил Чеглинец и ловко и красиво, одной левой, за ободранную ножку подал Терехову стул.

Потом он оказался у плиты, деловито похлопал Соломина по плечу, подмигнул Терехову, показав на Соломина пальцем:

– Во дает! Коком бы его на подводную лодку.

– А тебя бы матросом, гальюны чистить, – подсказал Ипольнов, – и швабру бы тебе дать...

– А тебя бы боцманом. Билли Бонсом! – обрадовался Чеглинец. – И Терехова мы бы назначили кем-нибудь... Старпомом! Чтоб он нам мораль читал...

– Ладно, хватит, – сказал Терехов.

Он плюхнулся на фанерное сиденье и стал изучать стены, словно попал в эту комнату впервые. Стена над кроватью Соломина была голубая и пустая, здоровый красно-белый плакат, рассказывающий стихами о развитии химии («беритесь умело... всенародное дело»), гвоздями, накрепко был прибит над кроватью Ипольнова, бывшего бригадира, и подчеркивал его сознательность, а чеглинцевский угол заняли легкомысленные фотографии красивых женщин, вырезанные Чеглинцевым из польского «Фильма» и журналов мод.

– Ничего у них жизнь, – сказал Терехов, – без ватников ходить могут.

– Они бы и в ватниках голые плечи показали! – Ипольнов покосился на женщин с презрением.

– Вот та симпатичная, – сказал Терехов, – слева.

– Ну! – расплылся Чеглинец. – Беата Тышкевич. У меня в машине она еще приятней. Дитя большого города... А эта?

Терехов вспомнил, как вчера толкали ребята влезшую в грязь машину Чеглинцева и как потом заглядывали в кабину и все посматривали на знойных женщин, приклеенных к зеленому металлу, и голубые глаза Беаты улыбались им из сладкой нездешней жизни. И тут Терехов вспомнил снова весь вчерашний день, и ему стало тоскливо, и он понял, что забрел в эту пропахшую мясом комнату Чеглинцева поневоле, что просто он оттягивает визит к Олегу с Надей, а явиться к ним надо хотя бы из вежливости.

– Ты все хотел мне рассказать, – мрачно проговорил Терехов, – как взял этого медведя.

– Значит, так, – сказал Чеглинец, – иду я по лесу. Доверчивый и тихий, – знаешь меня, и тут навстречу он. С газетой в руке. «Привет», – говорит и протягивает мне лапу. Я удивился: откуда он меня знает? Но руку ему пожал. И тут он – раз! – и на землю. Слабый какой-то...

– Значит, с газетой...

– Трепач, – захохотал Ипольнов и показал свой золотой зуб, – вот треплет!

– А чего? Он может, – сказал Терехов. – Ему ничего не стоит.

Терехов представил вдруг Чеглинцева в тайге, молодца из добрых старых сказок, с рогатиною в руках, нет, с руками-рогатинами, тренированными черными гириями, все же хорошо, что такие люди ходят по земле.

– Сейчас, сейчас, – пообещал Соломин.

– Она на четвертой стадии, – сказал Чеглинцев, – уже скоро...

Соломин кивнул и заулыбался Терехову, словно он очень любил Терехова и, теперь увидев его, не смог сдержать радости. Длинный нож Соломина ковырял, колол картошку и бурые куски мяса, переворачивал их и играл с ними. Медвежати́на была «на четвертой стадии», а Терехов знал, чего стоит возиться с ней. Красное, порубленное на куски мясо бросают в кастрюлю с кипящей водой, варят терпеливо и долго, а потом вываливают на горячую сковородку с подрумянившимся уже картофелем и пожелтевшим луком. Потом мясо надо тушить и добавлять к нему черный перец и лавровый лист, а потом жарить снова и наращивать корочку, горелую, такую, чтобы хрустела на зубах. Бросать мясо со сковородки в кастрюлю и потом обратно, колдовать над ним, как сейчас колдовал Соломин, и все для того, чтобы выгнать, вытравить привкусы и запахи таежного зверя, мотавшегося в бурой мохнатой шкуре, потеплее поролоновой, пропревшего во время гонов и лазаний, выгнать и вытравить непривычный нынешним людям мускусный привкус природы, грубые, толстые волокна медвежьего тела смягчить, облагородить, сделать их похожими на мясо мирного теленка, хватавшего резиновыми губами зеленую травку. Ничего не скажешь, далеко ушла цивилизация за свои тысячелетия, не дремал человек, интересовался не одними атомами и интегралами, торчал у очага, изобрел сковородку, газовую плиту и кухонные комбайны с машинками для сбивания коктейлей, все утончал свой вкус, ел когда-то сырое мясо, а теперь брезгует, даже медвежатину старается превратить в говядину, да еще получше сортом, подправляет природу на сковородке; может, времени и усилий человек на кухне потратил побольше, чем в лабораториях...

– Выпить бы, что ли, – сказал Терехов.

– А ты пьющий? – спросил Ипольнов.

Терехов нахмурился. После мирного, вызванного ожиданием еды разговора нагловатая усмешка Ипольнова и выражение его глаз удивили Терехова.

Глаза Ипольнова были глазами врага. Терехов и чувствовал сейчас Ипольнова своим врагом. Они не любили друг друга, и оба знали это, знали давно, уже в те дни, когда их бригады работали бок о бок, работали славно, и имя Ипольнова гремело, и он произносил с трибун, обтянутых кумачом, длинные и ладные речи. Терехов не мог объяснить причин своего нерасположения к Ипольнову, просто он считал, что нелюбовь к человеку приходит с первого взгляда, как и любовь. Но никогда ни он, ни Ипольнов не сталкивались друг с другом, и только глаза иногда выдавали их.

– Я пьющий и курящий, – сказал Терехов, – и матом ругаюсь.

– Не видал, не слыхал, – усмехнулся Ипольнов.

Он сидел напротив Терехова у квадратного стола, покрытого клеенкой и куском газеты, за зелеными бутылками «особой московской» и кривил губы, развеселый здоровый парень, с золотым зубом, как с медалью, гармошку бы ему в белые руки, и картуз с цветком на кудрявый русский чуб, и хромовые сапоги, и девок, лузгающих семечки, и небо чистое со звездами, а не эту тоскливую серятину.

– Что-то скучно стало, – неуверенно проговорил Чеглинцев и покосился на Ипольнова.

– Пить никак не начнем, – подмигнул Ипольнов.

– Слушай, Соломин... – строго сказал Чеглинцев.

– Ага, ага, – заторопился Соломин.

Чеглинцев махнул рукой, подхватил со стола водочную бутылку, подкинул ее и поймал, а потом ладонью саданул по зеленому дну, раз и второй, и после второго удара пробка вылетела резко и со звуком, шлепнулась на соломинскую кровать, капли sprыгнули на клеенку, и Чеглинцев старательно облизнул горлышко, крикнул, со вкусом понюхал рукав и выбил еще две пробки. Сделал он это быстро и красиво. «Порядок», – сказал Чеглинцев и слизнул водку с последнего горлышка. Ссутулившийся Соломин двинулся от плиты со сковородкой в руках, и пахучее жарено зашипело на столе.

– Кушать подано! – манерно наклонил голову Соломин и четыре вилки положил на клеенку.

Он хотел людей повеселить, но улыбка его была искусственной и угодливой, и Терехову стало неловко. Соломин почувствовал это и смутился и застыл над Тереховым.

– Садись, садись, – буркнул Ипольнов. Сказал, как приказал.

Чеглинцев кивнул и стал разливать водку в стаканы.

Выпили и начали жевать, и наступила деловитая тишина, которая приходит всегда после первой рюмки, только вилки и зубы работали. Выпили еще, и стало теплее и ленивее, и небо уже не казалось таким скучным, а Чеглинцев принялся расхваливать жареную медвежатину, похлопывал по-отечески Соломина по плечу, и Терехов с Ипольновым ему поддакивали. А угощение на самом деле было вкусным, и мясо, и картошка с корочкой, и даже зеленые стрелки черемши. Терехов давно не ел с таким аппетитом и хвалил Соломина искренне. Соломин сидел красный от водки и довольный и все спрашивал: «Ну как? Ну как?» – и радовался каждому ответу.

– Кушайте, кушайте, – приговаривал Соломин, а лицо его при этом становилось таким добрым и ласковым, словно он был поваром, кормившим ревизоров из треста питания.

Терехов жевал, наклонив голову, и думал о том, что он так и не смог привыкнуть к Соломину. Столько его уже знает, а привыкнуть не может. И понять не может, то ли это парень себе на уме, играющий придуманную им роль маленького человечка, услужливо и безответного, или он на самом деле такой, раб, забитый и тихий, денщик делового Ипольнова? А ему не так уж трудно было бы стать человеком независимым и самостоятельным, его руки умели делать, наверное, все, да еще как, вот и повар из него мог получиться хороший.

Но он ходил по земле согнувшись, а вечная улыбка его меняла окраску; как море меняет свой цвет, подчиняясь настроению неба, так и соломинская улыбка подчинялась словам и настроению собеседника. Улыбка эта и возмущалась, и радовалась, и грустила вместе с собеседником, но всегда она оставалась тихой и доброжелательной. Даже когда Соломина ругали, он стоял, улыбаясь, и словно бы говорил: «Вы не расстраивайтесь, вы только не расстраивайтесь. Все равно какой из меня может быть толк. Вы же видите, какой я жалкий и безнадешный человек...»

Однажды Терехов ездил в Братск, на бригадирские курсы. Он ходил по стройке и удивлялся всему. И белой стометровой плотине, и голубому морю, расползшемуся по тайге, и махровым малиновым цветам на проволочных ножках у самой воды, и древней башне Братского острога, крепкой и плечистой, отстоявшей триста лет на дне моря и теперь переехавшей к плотине. Вековые лиственничные бревна ее почернели, и морщины разошлись по ним, как по лицу старика. Но не море и не башня особенно поразили Терехова. В вишневом ресторане «Падун», поставленном к приезду Эйзенхауэра, деревянном сарае с линолеумным полом, Терехов увидел швейцара. Толстый розовый человек с короткой выщипанной бородкой в мундире с золотом стоял у дверей, кланялся и, улыбаясь, принимал мелочь. Это было глупо, но Терехов замер, уставившись на швейцара. Он бы замер вот так же, если бы в тайге среди елей и сосен увидел мохнатый кактус. Наверное, ничего странного и неестественного в том, что среди комбинезонов и спецовок появился мундир швейцара, не было, просто в Братск заглянула цивилизация, но Терехову, привыкшему на стройках к людям, уверенным

в себе, энергичным, сильным, а порой озороватым и нахальным, согнувшийся человек с улыбкой лакея показался странным и неестественным. И когда Терехов видел Соломина, он вспоминал вишневый ресторан и швейцара с бородой и подвыпивших парней, которые совали, смущаясь, швейцару монеты, а то и бумажки.

– По третьей, – подмигнул Ипольнов.

– Слушай, начальник, – сказал Чеглинцев, – ты бы нам какую-нибудь машину выделил до Кошурникова. Заваливающую.

– Пешком пройдетесь, – сказал Терехов.

– Это же неблагородно. Так советские люди не поступают. Мы тебя поим, кормим.

– К попутной прицепитесь.

– Он Будкова боится, – вступил Ипольнов. – Вдруг тот узнает, что Терехов дезертирам машину дает.

– И ведь Соломин старался, – Чеглинцев ткнул пальцем в грудь Соломина, – ночей недосыпал, все жарил...

– Жарил... – эхом произнес Соломин и заулыбался виновато, словно его уличили в чем-то нехорошем.

– Он Будкова боится, – повторил Ипольнов, а потом пригрозил пальцем Терехову. – Будков тебе еще покажет!

– Ладно, пошли вы со своим Будковым к черту! – нахмурившись, сказал Терехов и залпом выпил третий стакан.

– Будков тебе покажет, – Ипольнов уже смеялся. – Сойдетесь вы с ним, как два петуха. Только он петух размером со слона!

Ипольнов смеялся уже громко, со злорадством, пальцами прищелкивал, до того раззадорили его собственные слова. То ли он хотел разозлить, завести Терехова напоминанием о начальнике поезда, которого Терехов уважал и с которым никак не мог наладить отношения, к своей досаде. То ли Ипольнову доставляло удовольствие пророчить Терехову беды и неприятности в будущем, от которых он, Ипольнов, был уже избавлен. «Я-то знаю Будкова, еще как знаю, – говорили глаза Ипольнова, – и тебе теперь тоже придется узнать его поближе...» Ипольнов все смеялся, и глаза его подмигивали, и пальцы прищелкивали, а Терехов сидел молча и только изредка отвечал.

Терехов молчал потому, что водка и медвежати́на сделали его благодушным и спокойным, и потому еще, что чутьем, появившимся у него в последние голы, он понимал, что в самые ближайшие дни, а может быть и завтра, пойдет его жизнь беличьим колесом и будут в ней крики, обиды и нервотрепки и вообще начнется всякая дребедень. Такое было предчувствие, и Терехов верил в него. А потому он старался хотя бы сегодня не думать о вещах серьезных, отключиться от них, расслабить мышцы, как боксер перед боем. И он молчал, и его на самом деле не трогали уколы Ипольнова, а Ипольнов, чувствуя это, злился и в то же время понимал, что махает кулаками по воздуху, и у него пропадал интерес к разговору. Ипольнов так и успокоился и пальцами щелкать перестал.

Выпили еще, и потом Чеглинцев нагнулся, крикнул: «Алле гоп!», и зеленая бутылка вылетела откуда-то из-под стола, перевернулась в воздухе акробатом под куполом цирка. «Алле гоп!» – и свечкою встала в шершавой ладони Чеглинцева. «Маэстро, музыку!» – закричал Чеглинцев и стал стучать кулаком по дну.

Терехов смеялся. Движения Чеглинцева были легки и красивы, и сам Чеглинцев был красив, богатырская грудь его ходила под синим лавсаном рубашки, и Терехов с удовольствием глядел на него. Терехов смеялся, и Чеглинцев смеялся, и Соломин радостно кивал головой, словно кланялся, и ослепительные женщины с голыми плечами подмигивали с голубой стены и смеялись беззвучно. Отставил стакан Чеглинцев и начал петь; что он там пел, Терехов не разбирал, да он и не вслушивался в слова песни, но что-то в них было жалост-

ливое и грустное; слова эти вовсе не сделали четверых за столом грустными, наоборот, они еще больше развеселили их, и Исполнов с Соломиным стали подпевать Чеглинцеву, а Терехов, разомлевший, скинувший куртку, громче, чем надо, стучал по столу ладонями.

Песня становилась все быстрее и веселее или это только так казалось Терехову. «Давай, начальник, давай!» – крикнул ему Чеглинцев, и Терехов застучал ладонями резвее и громче. Потом они долго трепались, вспоминали всякие веселые случаи из сейбинской жизни, вспоминали только по одной фразе: «А помнишь, когда Будков приехал собрание проводить...», «А помнишь...», и этого хватало, и все хохотали, а потом начинали смаковать детали. Терехов вытирал пот со лба и ворчал добродушно: «Фу-ты, какая горячая печка!»

Терехов сидел сытый, довольный и теплый, и за окном, наверное, была жара, и ребятня прыгала в ленивую воду канала и визжала от радости, хотя откуда здесь мог появиться канал? «Хорошо, что я пришел сюда, – думал Терехов. – Хорошая медвежатица... И парни отличные... Я их уговорю... Я их люблю... Они останутся... Где еще найдешь таких парней... Таких мастеров... И Исполнова я люблю... Я всех...»

– Вы отличные ребята... – пробормотал Терехов.

«Точно! – улыбнулась Терехову красивая женщина с голубой стены. – Все вы отличные ребята!» Она все улыбалась, и ослепительная Беата Тышкевич стала ей кивать. И все красивые женщины заулыбались с голубой стены. Где только выращивают таких, чем их только кормят, чтобы они такие получались! Жизнь пошла веселая. Там на голубой стене в будние, хлопотливые дни особая страна с яркими и сладкими порядками. И у них тут на земле своя страна и сапоги танцуют по грязи. А теперь – пожалуйста! – волшебники добрые, чего им стоило, граница сметена, выкинуты полосатые будки, их можно пустить на дрова, и виз не надо, шагай себе в голубую страну улыбок, рукой помахивай. Хохочущая Беата Тышкевич встречает тебя, тысячи Беат Тышкевич, рыжих, медных, лиловых, пепельных, встречают тебя и поют скачущие слова: «Отлично... идет все отлично», и ноги их пританцовывают ликующе, и на юных плечах их блестит солнце, не юпитерное, жестокое, а всамделишное солнце...

– ...а Терехову, значит, привет?

– Что? – спросил Терехов.

– Я говорю, – сказал Чеглинцев, – невеста-то твоя замуж выходит.

– Какая невеста? – удивился Терехов. Словно бы не понял ничего.

– Какая невеста? – тоже будто бы удивился Исполнов.

– Ну как же! – заулыбался Чеглинцев. – Все тогда говорили, что она его невеста. Помнишь?

– Надька-то? – спросил Исполнов и сощурил хитроватые глаза. – А я думал, что у него с врачихой, с Илгой, любовь.

– Назревает! – захохотал Чеглинцев.

Терехов встал.

– Ну спасибо, – сказал Терехов.

– Ты сиди. Ты чего?

– Ну привет. У меня дела.

– Машину-то завтра подкинешь?

– Ну привет! – сказал Терехов.

Он неуклюже потопал к двери. Все начиналось снова. Не было голубой страны и фиолетовых волос Беаты, и теплой печки не было. Был сегодняшний день и вчерашний день, а Олег Плахтин женился на Наде.

– Ну привет, – уже неуверенно, уже закрывая за собой дверь, пробормотал Терехов.

5

Надо было идти к Наде и Олегу, утром он обещал, да если бы и не обещал, надо было идти. Но Терехов все стоял под дождем, в распахнутом плаще, смотрел в небо и языком ловил капли. Капли казались вкусными и пахли сосной.

Терехов дошагал до семейного общежития, дошагал не спеша, все надеялся, что дождь и холодный нервный ветер потихоньку выдуют из него хмель. Но ноги его ступали нетвердо, и в сумрачном коридоре общежития он несколько раз дотрагивался рукой до стены, только так восстанавливая равновесие, а когда кто-то попадался ему навстречу, Терехов бормотал невнятное, и лицо его становилось добрым и виноватым.

Надя была одна, сидела у окна и вязала.

– Привет, – сказал Терехов бодро.

– Павел! Пришел! Какой ты молодец! – Надя вскочила стремительно, подлетела к Терехову с сияющими глазами, жала ему руку и радовалась. – Ты раздевайся! Раздевайся!..

– Сейчас...

Терехов снимал плащ долго и вешал его долго и капли стряхивал медленно.

– А Олег где? – спросил Терехов.

– Я его в Сосновку отправила. В магазин. Нам в среду расписываться назначили.

– В среду?

– Да. Ты садись, садись.

– Я сажусь.

Теперь, когда Терехов сел, он, как и в комнате Чеглинцева, стал осматриваться по сторонам и отыскивать подтверждение того, что в мире произошло событие для него, Терехова, очень важное. Но в комнате ничего такого он не увидел, только чемодан Олега высовывался из-под кровати, и на тумбочке стояла фотография Олега, вот и все, что заметил Терехов.

– Да, – сказал Терехов, – я совсем забыл, я тебя поздравляю...

– Спасибо, Павлик. Спасибо.

– Ты счастливая?

– Ага...

– Ну конечно, – сказал Терехов.

Он еще что-то говорил, и она ему отвечала, и он снова говорил, старательно выжевывая слова, и все шло как нельзя лучше. Все эти несчастные мокрые метры дороги от Чеглинцева Терехов думал о том, как он будет неловко и фальшиво произносить вежливые слова, обозначающие его радость, то самое чувство, испытывать которое он сейчас не мог, и как Олег и Надя станут неуклюже и фальшиво отвечать на его слова. Но Надя оказалась молодчиной, она начала так, словно и не было никаких иных отношений между ними тремя, словно все годы, как Терехов, Олег и Надя знали друг друга, они жили только для того, чтобы сегодня Олег и Надя женились, а Терехов радовался этому. Так или иначе, но Терехов с охотой и даже с облегчением принял ее тон и говорил веселые слова, и получалось все естественно и хорошо. Слова эти касались только сегодняшнего, Терехов подумал, что они с Надей прохаживаются шутя по бревнышку, перекинутому через щель в горах, и щель эта называется прошлым, а впрочем, может быть, прогуливался по бревнышку только один он, Терехов.

– Ты не обиделся, что мы тебе не сразу объявили? – спросила вдруг Надя.

– Да нет, ну что ты! Все понятно было. Давно уже.

– А как тебе Олег докладывал?

– Ну! – Терехов развел руками.

– Нет, ты просто не представляешь...

Она так и не договорила, и Терехов не понял, чего он не представляет, он только почувствовал, что здесь, в этом березовом тепле, его может развезти и надо скорее выбираться на улицу.

– Душно здесь, – сказал Терехов, – пройдемся, что ли?

Надя кивнула, и, пока она накидывала на плечи пальто, Терехов потоптался у двери, не очень ясно соображая, зачем понадобилось ему вытаскивать Надю на улицу из этой благопристойной комнаты, не думает ли он, что на воздухе, под дождем смогут вклиниться в их разговор иные слова? Надя собиралась с готовностью, будто бы соглашалась выслушать от него важные признания. А Терехов все топтался, и ничего уже не хотелось ему говорить, только потом вспомнил, что тут его может развезти и лучше побыть на воздухе. Но он не двигался, а все смотрел на Надю.

Надя подходила к нему. Она была красивая, красивее всех на этой планете, а какие женщины на других планетах, никто пока не знал. И вот она бросила все и прикатила сюда, в эту хлябь, утыканную елочками, знаешь сам, почему все бросила и прикатила.

Надя подходила к нему, а с ним ничего не могло произойти, он не мог ни исчезнуть, ни пропасть, ни сбежать, ни протрезветь.

Надя подходила к нему, и она была все такая же, как год, как два, как три года назад, и тайга совсем не изменила Надю, и глаза у нее были все те же, синие, добрые, ждущие чего-то. Те же, да и не те.

– Ты чего? – спросила Надя.

Она протянула ему руку, сжала ею кончики его пальцев и потащила Терехова по коридору. Прикосновение ее руки обожгло Терехова, он шел сам не свой, взволнованный ее близостью, и Терехову казалось, что Надины глаза улыбаются ему. Он не мог идти так дальше. Он остановился.

– Что это ты вдруг со мной так? – сказал Терехов грубовато. – Мужа отправила в Сосновку...

Надины руки исчезли в карманах пальто. Она была теперь далеко-далеко. За синими морями.

– Я думала, тебя надо вести, – сказала Надя.

Коридор был пустой и гулкий, и черные углы его шептались, наверное, за их спинами. И улица была пустая, не находились чудачки, которым доставляло бы удовольствие месить грязь сапогами, только они вдвоем плыли по ней, сами не зная куда. А может быть, это плыли деревья и фанерные ящики домов и сопки тоже плыли. Терехову теперь было все равно, ему казалось, что он успокоился и забыл все, забыл, как обожгла его Надина рука, и можно было снова прохаживаться по бревнышку, перекинутому через прошлое.

– Ты чему улыбаешься? – спросила Надя.

– Я-то? Ну как же! – сказал Терехов. – Я уже хотел стреляться, а теперь вот легче стало.

– Стреляться?

– А ты не знала? Я еще с Баншиковым договорился, с лесорубом. У него хорошая бензопила. Положишь под нее голову – и привет... И еще, на крайний случай. Севка обещал меня переехать на своем трелевочном. На центральной площади... Тумаркин сыграет на трубе... Представляешь зрелище?

– Ты все дурачишься...

– Я человек серьезный. У меня трагедия... Ты выходишь замуж. А я тебя люблю.

Надя остановилась. Она стояла и смотрела на Терехова. Она смеялась, а в глазах ее было любопытство, и удивление, и испуг, и просьба: «Не надо! Только не надо об этом», все было, и Терехов скорчил рожу, чтобы успокоить ее и подтвердить, что он и вправду дурачится.

– Я тебя люблю, а ты выходишь замуж...

– Вот ведь как, – сказала Надя и пошла дальше. – Только я тебе не верю.

– Я сам себе не верю, но дело не в этом... Я тебе докажу... Хочешь, слово дам? Хочешь, поклянусь? Чтобы меня исключили из профсоюза...

Надя уже смеялась, значит, все шло хорошо, она приняла игру.

– Чем бы тебе доказать?

– Ну уж докажи...

– А куда мы идем?..

– Не знаю. Просто идем, и все.

– Слушай, так мы совсем залезем в грязь... Или заблудимся и завернем в Монголию...

А там не рубли, а тугрики... Их у меня нет...

– Иди, иди и не бойся. Только старайся не шататься.

– Я же еще и шатаюсь!.. погоди, что я?.. Разве я тебе еще не доказал, что я тебя люблю?

– Значит, нет.

– Ах так! Да хочешь, я сейчас сломаю этот кедр, принесу его сюда и брошу к твоим ногам. Или нет, я залезу сейчас на тот столб и пройду по проводам высокого напряжения. Или...

Надя смеялась, а Терехов тараторил еще, размахивал руками, помогая словам, и если бы он мог взглянуть на себя со стороны, то он ужаснулся бы своему преображению. Он был человек сдержанный и скупой на слова, а тут болтал, как хороший трепач. Но со стороны на себя Терехов взглянуть не мог, он смотрел на кран, стоявший метрах в пятидесяти перед ним, он видел только этот кран, все еще говорил, говорил, а сам уже думал о том, что произойдет дальше.

– Ладно, я тебе сейчас... – сказал Терехов, – сейчас я...

Он остановился и потом, наклонив голову, быстро зашагал к крану.

Руки Терехова были уже в карманах плаща, сырых и холодных, как погреб, сапоги его ступали чересчур уверенно, и Терехов чувствовал, что Надя не поспевает за ним, а может быть, она и не считала нужным поспевать. Но Терехов не оборачивался, уже не болтал, и с лица его пропало выражение веселое и озороватое. Он шагнул к крану, гордости их нарождающегося поселка, заснувшего в воскресенье металлическому животному, которое в будние дни двигалось, вертело своей худой шеей, скрежетало и помогало строить в тайге первый каменный дом в три этажа. Терехов шагнул деловито, и в голову ему стали лезть всякие неожиданные соображения о машинном масле, запасных частях и нехватке кирпича. Только у самого крана Терехов вспомнил, почему он свернул с дороги, и лицо его снова стало веселым и хмельным, и, обернувшись к Наде, Терехов начал раскланиваться перед ней неуклюже и глуповато, как коверный в цирке. Он хотел сделать реверанс, чуть было не свалился в грязь и, удержавшись, послал Наде воздушный поцелуй. Коверный был старомодный, ровесник немого кино и черных цилиндров, подвыпивший к тому же.

– Павел, ты зачем? Подожди, Павел... – Надя уже спешила и не выбирала мест посуше.

Лицо ее показалось Терехову обеспокоенным, но он махнул рукой: терпи, мол, раз уж все это затеяли. Терехов степенно подошел к крану, похлопал его панибратски и вдруг по-кошачьи подпрыгнул, уцепился за металлическую планку и, подтянувшись, оказался на первом ярусе решетчатой башни. Он цеплялся за новые планки, так и лез, не сразу сообразил, что ему мешает плащ, а сообразив, скинул его вниз и даже не поинтересовался, упал он на землю или застрял где-нибудь. Рядом шла вверх лестница, узкая и с тонкими палками ступенек, словно веревочная, но лезть по ней было безопасно, а потому и неинтересно.

Металлические перекладины были скользкие, и Терехов несколько раз чуть было не сорвался. К тому же перекладины шли под углом, и руки все время скользили по ним. Но Терехов все лез и лез, ему и в голову сейчас не приходило, что он может упасть и разбиться, и Надины испуганные крики он не слышал.

Он поглядел вниз, когда добрался до стрелы. Надя суежилась внизу, и понять выражение ее лица было уже трудно. Терехов на всякий случай скорчил рожу. Старомодный коверный был все же ловким и продолжал веселить публику под куполом цирка.

Лезть по стреле было труднее. Терехов навалился на нее животом и полз по ней, полз долго. Однажды, когда ноги поехали куда-то вправо, ему стало вдруг страшно, и он замер на мокром металле, снизу могло показаться, что он просто отдыхает и любитесь таежными видами, а он лежал и успокаивал себя. Потом Терехов двинулся дальше и вспомнил вдруг, как он в розовой своей юности во Влахерме ночью на спор прошел по дуге моста через канал. Ночь стояла сухая, заклепки на стали, похожие на шипы бутсов, помогали идти, и Терехов брел по дуге, засунув руки в карманы, посвистывал, видел метрах в двадцати под собой лунную рябь на воде, а в конце дуги на шоссе ждали его ошастливленные зрители и среди них Надя с восторженными глазами. Если бы такие глаза были у нее сейчас...

Воспоминание это было совсем ни к чему. Терехов пополз теперь злее и ретивее, словно там впереди, на конце стрелы, ждало его чудо. Но на конце ничего не оказалось, только два стальных троса сваливались с блока вниз и держали над самой землей тяжелый крюк, похожий на клюв. Ползти было уже некуда, и Терехов не знал теперь, что ему делать дальше.

– Павел... – донеслось снизу, и Терехов вспомнил, с чего все началось.

– Ты все еще не веришь? – заорал Терехов.

– Не верю, – крикнула Надя. Она не подзадоривала его, просто ей не хотелось врать.

– Ах так!.. – заявил Терехов.

Но он не сдвинулся с места, а продолжал лежать, дождь стучал по металлу прямо перед ним, и нервные неуверенные струйки бежали к его лицу. Серый, словно бы сложенный из кусков мешковины, намокшей теперь, распластался под ним поселок из трех улиц. Терехов видел его впервые с птичьей высоты, видел весь разом, и ему захотелось полежать здесь еще и разглядеть все внимательнее, чтобы потом передать на бумаге. Но Надя снова кричала, и Терехов повторил громче:

– Ах так!

Он напрягся, весь как бы съежился и боком свалился со стрелы, должен был бы врезаться в землю у Надиных ног, но не врезался, а вцепился в стальные тросы и повис под самым блоком. Зрителей не было, а то бы они зааплодировали. Терехов висел и болтал ногами, доверял рукам.

– Теперь ты мне веришь? – кричал Терехов.

– Слезай, Павел, слезай!

– Ну уж нет, – сказал Терехов. Он раскачивался под куполом цирка, под самым небом.

– Тогда я... я сама полезу...

Маленькая фигурка там, внизу, шагнула к крану, а Терехов-то прекрасно знал, что Надя и на самом деле полезет.

– Ну ладно, – сказал Терехов.

Он стал спускаться, делать это было очень трудно, и Терехов изо всей силы сжимал руками канаты, скрученные из проволоки. Земля была все ближе, Терехов меньше болтал ногами и начал даже насвистывать, но вдруг руки его ослабли чуть-чуть, и он сорвался и полетел вниз, обдирая ладони о проволоку.

Надя подскочила к нему, хотела помочь ему встать, но Терехов быстро поднялся сам и тут же в карманы куртки сунул руки, чтобы она не увидела на них кровь.

– Ты ушибся? Ты сильно ушибся? – Глаза у нее были испуганные и ласковые.

– Нет, – заявил Терехов, – все в норме.

– Ты пьяный, – сказала Надя уже сердито.

– Я пьяный, – кивнул Терехов.

Надя отвернулась, волосы у нее были мокрые, она всегда следила за своей прической, а тут забыла о ней. Когда она снова взглянула на него, он увидел на ее щеках слезы, а может, это были дождевые капли.

– Значит, ты мне доказал... – сказала Надя.

– Да нет! – замотал головой Терехов. – Ты поверила, что ли? Я так... Я пошутил... Выпил я...

Ладони здорово саднило, надо было бы смазать их йодом и забинтовать. Терехов взглянул вдруг вверх, увидел задранную в небо стрелу и ужаснулся и принялся ругать себя последними словами за идиотскую затею; просто было чудом, что он шел сейчас по земле, а не валялся в грязи под краном с переломанным позвоночником. И было чудом, что никто в поселке не видел его аттракциона.

– Пошли обратно, – сказал Терехов.

– Пошли...

– Вот номер... я забыл плащ... я сейчас...

Он догнал ее скоро и пошел рядом, стараясь улыбаться.

– Нет, на самом деле, ты не думай, – начал Терехов, – я дурачился... Ты знаешь меня... Если и было что-нибудь у меня к тебе, так это давно прошло...

– У меня тем более, – сказала Надя резко.

– Это хорошо, что вы с Олегом... – кивнул Терехов. – Пора уж... Я вот тоже, наверное, скоро женюсь...

Надя повернула голову.

– На этой... На Илге... Ну, знаешь, зуботехник, которая застряла сейчас у нас. – Терехов выпалил эти слова и подробности сообщил, будто бы Надя не знала, кто такая Илга и почему застряла она у них в поселке.

Дальше идти было некуда, они стояли уже около семейного общежития, топтались у крыльца, молчали и не смотрели друг другу в глаза.

– Ничего у нас не было, – сказала вдруг Надя.

– Да, – согласился Терехов, – ничего.

– Ты заходи. Скоро подойдет Олег.

– На меня теперь дела свалились...

– Ну, тогда попозже...

– Если попозже...

6

Он зашагал по улице, не оглядывался, ладони щипало по-прежнему, они были мокрыми, и ткань подкладки, наверное, уже промокла. Значит, был повод зайти к Илге, у которой имелись биты и йод, и по поводу этому Терехов обрадовался. Потом он вспомнил, что в комнате с Илгой живет Арсеньева, а перед Арсеньевой появиться навеселе он никак не мог. И Терехов решил походить еще по поселку и проветриться на совесть.

Он протрезвел уже давно, но не хотел признаться себе в этом, так было удобнее, так он мог считать, что именно хмель и загнал его на скользкую и худую шею крана и заставил его дурачиться перед Надей и врать ей. Терехов бродил по поселку успокоенный, утром еще он боялся разговора с Надей, а теперь, когда все осталось позади, он был очень доволен этим разговором и твердил себе: «Вот видишь, все давно прошло, а ты вбивал в голову... Вот видишь...»

«Ничего у нас не было», – сказала ему Надя, и Терехов теперь знал точно: у них на самом деле ничего не было. Еще вчера он не позволял себе думать о прошлом, а теперь думал о нем легко и спокойно, словно вспоминал чужую жизнь, события и волнения, его никак не касающиеся. Ему доставляло радость это спокойствие, оно веселило его.

Он возвращался к старому без боязни... Он знал Надю уже лет пятнадцать, а то и больше, помнил ее еще девчонкой с голубыми бантиками, «терчком», как звали Надю из-за ее исковерканного ею словечка «чертенюк». Пацаны вились вокруг Терехова долгие годы, дрались из-за права носить его коричневый чемодан со стадиона и до дома, бегали вместе с ними и девчонки, похожие на мальчишек, вот и Надя была с ними. Он на нее не обращал внимания, он вообще снисходительно и без интереса относился к своей свите. Но Надя была дочерью отцовского друга, и когда в пятьдесят втором арестовали Надиного отца, врача-терапевта Белашова, семья Тереховых на год приютила Надю. Терехов был к ней заботлив и внимателен. Он верил, что ее отца взяли правильно, спорил со своим стариком из-за ареста доктора Белашова, а к Наде относился по-братски.

Через год Надин отец вернулся, и она ушла домой. Но теперь Терехов выделял ее из своей свиты, улыбался ей, и сверстники Наде завидовали. Десятки лет их городок жил спортом, где-нибудь в Палехе самыми именитыми людьми становились мастера лаковых шкатулок, на Магнитке – сталевары, во Влахерме же популярность создавали успехи на стадионе. С Тереховым раскланивались на улицах, как с большим человеком, а старички, помнившие выступления в их городе Канунникова, Бутусова и братьев Старостиных, шептали ему в спину: «Андрея Павловича-то сынок... Года через два в сборной играть будет... Такой удар...»

Потом, когда Терехов стал постарше, Надя все время вертелась около него: и на танцах, и на стадионе, и на улице. Терехов не удивлялся этому, он привык, что она была все время рядом, а почему – это его интересовало мало. Терехов рано узнал женщин, все получилось просто, это про их городок, наверное, позже написали песню, прилипчивую, как семечки: «...населенье таково: незамужние ткачихи составляют большинство». Терехов считал себя человеком взрослым и опытным, и длинная худая девчонка, всегда бронзовая и словно бы звонкая от солнца и ветров, была в его глазах обыкновенной мелюзгой, чуть ли не воспитанницей детского сада. Терехов очень удивился, когда кто-то ему сказал, что эта босоногая девица гордость их школы, что она наверняка получит золотую медаль и у нее большие математические способности. Терехов тогда даже присвистнул, сам он сбежал из школы уже после шестого класса и ко всем, кто продолжал учиться, относился с презрением и вместе с тем с завистью. «А, отличница!» – улыбнулся при встрече Терехов. То ли с издевкой, то ли с

одобрением. Потом он еще сказал ей пару слов, и это был один из самых долгих разговоров, которыми он ее удостаивал.

Иногда Терехов между прочим чувствовал Надины взгляды, она тайком любовалась им, а поняв, что открыта, вспыхивала и готова была наговорить Терехову грубостей, но он делал вид, что ничего не заметил.

Когда его провожали в армию, дни были жаркие, и Терехов жадничал, старался любую свободную минуту поваляться на травяном истоптанном берегу канала. Оказавшись на плоту, Терехов растянулся на шершавом стволе сосны и закрыл глаза. Рука его, упавшая в воду, тащилась за плотом, Терехов отключился от мира, почти дремал, и все звуки, которые он слышал, казались ему неестественными и неземными. И в этом нереальном его существовании кто-то дотронулся до его плеча. Терехов открыл глаза и увидел Надю. Она лежала рядом на бревнах, черная, вся в взблескивающих каплях. Лицо у нее было серьезное и сердитое, словно она собиралась сказать ему что-то важное. Но она молчала, и Терехов закрыл глаза. Сколько времени прошло, Терехов не знал, только потом он услышал шепот: «Павел... Терехов... я тебе назначаю свидание... сегодня вечером... на танцах...» Терехов кивнул, дернул головой, а может быть, только собрался кивнуть, он тут же услышал всплеск и потом шлепки по воде. Он открыл глаза и никакой Нади рядом не увидел, наверное, ее и не было раньше, просто она ему приснилась или прислышалась.

Вовсе и не собирался вечером Терехов идти на танцы. В других местах обещал он быть, во многие хмельные компании был приглашен – не одного его брали завтра в армию. Но Терехов не мог не зайти на стадион, просто так – попрощаться.

Дощатые трибуны были темны, и поле измазали черной краской, и гаревая дорожка, истыканная шипами, вела прямо на черное небо. Только над асфальтовым кругляком горели лампы, и пары двигались под лампами резво. Терехов хотел было проشمгнуть мимо танцев к выходу, но не смог. На скамейке, у асфальтового кругляка, он увидел Надю.

Надя была в белом платье невесты. Она выделялась среди всех, собравшихся на танцах. Терехов вспомнил о гадком утенке и Золушке. Но одной феи тут было мало, сто волшебниц, наверное, отмывали эту чумазую девицу, драили ее, сто кусков пемзы и сто обрывков наждачной бумаги понадобилось им, сто добрых портняжек шили ей платье.

Терехов смотрел на Надю из ночи, видел, как подходили к ней парни и приглашали ее танцевать и как она качала головой. Она словно бы светилась в толпе, такая она была неожиданная и красивая, и на скамейку ее никто не присаживался.

Не имел Терехов времени, и ни к чему ему было шаркать подошвами, но он почувствовал вдруг жалость к этой девчонке, сбежать от нее было бы сейчас нечестно, и Терехов шагнул в световой круг.

Надя увидела его сразу. Она быстро поднялась и пошла ему навстречу. Идти надо было через асфальтовый пятак. Она пробиралась к нему, и ломаные движения танцующих не могли остановить ее. Она шла к нему, как шел Бобров с шайбой к чужим воротам, ловкая, длинноногая девчонка, глаза ее были счастливыми, все смотрели на нее и обсуждали ее, а она видела только Терехова.

– Ты пришел... – сказала Надя.

– Да... – пробормотал Терехов, – задержался я...

Она ждала его часа три, а может быть, и все пять.

– Будем танцевать? – спросила Надя.

– Танцевать? – растерялся Терехов. – Ну давай...

Крутили «Рио-Риту» или другую довоенную румбу. То был год первого легкого прощания джаза, и радиозел к рентгеновским пленкам «на костях» с записями блюза «Сан-Луи» и песен Лещенко, сысканных у спекулянтов, прикупил новые пластинки Апрелевского

завода. Там были престарелые фокстроты, румбы и танго, долгие годы предаваемые анафеме, и теперь переименованные в медленные, быстрые и очень быстрые танцы.

– Платье кто шил? – спросил Терехов.

– Я сама, – быстро сказала Надя, – из маминых...

– Из маминых... – буркнул Терехов и подумал: «Пороть тебя некому».

Танцевать с ней было легко, и Терехов даже пожалел, что пластинка так быстро кончилась. Потом завели новую, и Терехов пригласил Надю. Он глядел на нее и любовался ею и думал: «Вот вырастет, королевой станет, первой красавицей во Влахерме». Он даже пожалел на мгновение, что сам он такой старый, и позавидовал Надиным ровесникам.

Как дань уходящим вкусам завели падеграсс, и, конечно, площадка тут же стала пустой, только двое пацанов-семиклассников дурачились под музыку стилем да они с Надей начали танцевать. Терехов понимал, что это глупо и завтра во Влахерме поползут всякие разговоры и больше всего достанется Наде, но остановиться он не мог, шел за Надей в танце, завоженный ею. А она забыла обо всем, двигалась плавно и красиво и озорно, черт-те знает откуда взялся у нее этот талант – как он ее расцветил! Терехов чувствовал, что все вокруг притихли и глазают на них восторженно. Им даже захлопали, и Надя, смутившись, потянула его за руку к скамейке, и тут она шла павой, и всем в голову могло прийти, что она на самом деле невеста. «Только чья?.. – подумал Терехов. – Ясно чья...» Он рассердился и сказал:

– Ну я, пожалуй, пойду...

– Никуда ты не пойдешь. Танцы еще не кончились...

– Привет тебе, – сказал Терехов. – у меня времени видимо-невидимо...

В той сказке, которую она себе напридумала, ему, видно, отводилась особая роль, но он эту роль не выучил, и Надя обиделась.

– Ну тогда, ну тогда... – сказала она, нахмурившись, – мы сейчас погуляем и поговорим. Так все делают после танцев.

– Все взрослые, – сказал Терехов.

Но она пропустила мимо ушей его слова, взяла за руку и потянула за собой. Терехов, пряча улыбку, поплелся за ней, увидел в толпе зрителей Олега и подумал: «Дура ты, дура, тебе бы вот этого парня уводить, а не меня...»

Надя вела его быстро, по пепельной тропинке шагали они к притихшему каналу. Это была обычная дорога гулявших после танцев, Терехов не раз проходил по ней, но откуда она узнала ее? Терехов боялся, как бы они вдвоем не наткнулись на парочки, были тут укромные места, и не этой малолетке видеть ночную любовь. Берег канала был в цветных пятнах, электрические бакены в стальных кожухах заступили на свою вахту.

– Терехов, – начала Надя, – мне нужно сказать тебе.

– Ну давай.

– Завтра ты уходишь в армию...

– От тебя первой узнал.

– Я буду тебя ждать.

– Ну подожди... А зачем?

– Когда мужчина уходит в армию, его обязательно должна ждать женщина...

– А ты, значит, женщина...

– Я люблю тебя, Терехов.

– Ну ладно, – сдался Терехов, – пиши письма, присылай фотокарточки...

– Хорошо бы, началась война. Я бы тоже пошла на фронт. Тебя бы ранили, а я вынесла бы тебя из-под пуль...

– Что ты несешь!

– Я была бы медсестрой...

– Ты не знаешь, что такое война? Ты забыла, что твоя мать погибла в сорок третьем?

– Нет. Пусть на этой войне никою не убьют. Только тебя ранят.

– Знаешь что, – сказал Терехов, – ты так накаркаешь. Выбери кого-нибудь другого. Узнай, кто у нас любит госпитали, и давай...

Она отвернулась, стояла молча: обиделась, наверное. Все это она вбила себе в голову всерьез. Терехов не знал, какие слова ей сказать, все-таки он был на нее сердит. И в то же время он чувствовал себя перепачканным маляром, оказавшимся в забитом автобусе рядом с девчонкой, надевшей платье с иголки. Он даже старался идти шагах в двух от Нади, на всякий случай: вдруг ее сказка кончается поцелуем перед разлукой? Ему хотелось говорить слова грубые и пошлые, чтобы поняла она, с кем имеет дело. Он даже был готов сказать ей, что ночевать сегодня он пойдет к своей «бабе», одной из незамужних ткачих, и та уж не будет фантазировать об их будущем.

– Сколько тебе лет? – спросил Терехов.

– Пятнадцатый... Пятнадцать.

– Ну вот... Совсем малолетка... Доживи до моих лет, тогда начнешь чего-нибудь понимать.

Терехову было уже девятнадцать, и в футбол он играл в первой мужской команде.

– Взрослая я, – обиженно заявила Надя.

– Ну хорошо, хорошо. Жди. Жди, если хочешь.

Терехов подумал вдруг, что женщина, к которой он сегодня шел, ждать его не собирается. Ей бы пришлось ждать многих.

– Я буду твоей невестой, – сказала Надя.

– Ну давай, – вздохнул Терехов.

– Если ты не хочешь...

– Еще как хочу... А платье? Ты сумеешь сберечь платье? Сохранишь его от моли?

– Я сберегу...

Терехов не видел ее глаз, но по тому, как она произнесла последние слова, он понял, что она может сейчас зареветь. «Ну вот... Довел девчонку...» И тут же Терехов подумал, что так и надо, хорошо, что он был жестоким, пусть отшатнется от него, пусть обидится на него, иначе потом будет больнее.

– Пойдем, я тебя провожу домой, – сказал Терехов.

– Ты спешишь?

– Тебя, наверное, ищет отец.

– Отец знает, что я ушла на свидание.

– Он уже привык к твоим свиданиям?

– Сегодня у меня первое...

Никакого первого свидания Терехов вспомнить бы не смог. Была какая-то гулянка, и кислые огурцы стояли рядом с банкой самогона, он был пьяный, и девки были пьяные.

Терехов достал сигареты и закурил.

– Дай мне, – сказала Надя.

– Молода еще, поняла?

– Хорошо. Я пойду. Можешь меня не провожать.

По вытоптанной бровке берега шла она быстро, почти неслась, и Терехову пришлось бросить сигарету, иначе он мог бы отстать от нее. Городок их спал, но око у него было недреманное и любопытное, и он, конечно, не мог не заметить фосфорическую длинноногую девчонку, бежавшую со свиданья. Шушуканье нравственных людей ждало ее завтра, и Терехов решил, что идти им надо не по главной и гулкой улице, а огородами.

– Сворачивай на ту тропу, – сказал Терехов.

Она обернулась и на ходу бросила ему:

– Я прошу не провожать меня.

Терехов остановился и пожал плечами. Потом он побрел за ней по главной улице и дальше не приближался к ней, шел не спеша, так, чтобы она не могла увидеть его и услышать его шагов, шел на всякий случай – вдруг бы понадобилась его помощь?

Он так и не спал всю ночь, утром голова гудела и снова лили ему водку, столько было разговоров, встреч, прощаний, слез и гогота, столько забот свалилось на него, что о прошлых своих днях Терехов не думал. Даже если бы вспомнил он о вчерашнем свидании, показалось бы ему, что было оно года три назад. Потом в кузове грузовика отвезли их в Дмитров, в зеленый переулочек, к райвоенкомату. У райвоенкомата усохший майор, упоенный свалившимися наконец на него работой и подчиненными, давал указания. Снова прощались, пели песни, раздувались гармошечные бока. Терехов жал кому-то руки, с кем-то хотел подражаться, но тут же помирился и прослезился по этому поводу от умиления и обнял своего недруга. Потом он стал целоваться с родственниками, друзьями и людьми незнакомыми. И вдруг Терехов сообразил, что он поцеловал Надю. Надя стояла перед ним – приехала в Дмитров, словно не было у нее самолюбия, снова была в своем белом платье, все пялили на нее глаза, а она стояла гордая и красивая и протягивала ему какой-то платочек с синими вышитыми цветами. «Девчонка. Начиталась книжек, – подумал Терехов. – Ну ладно, посмотри, увидишь хоть: не одна ты из женщин меня провожаешь». Но платок он все же взял. И когда Надя сказала ему: «Напиши», буркнул в ответ: «Ладно».

Он написал. Раньше он никогда не связывался с письмами, а в армии стал их любителем. Поддался общей болезни. Во взводе у них даже шло соревнование, кто больше получит писем. Почту раздавали как награды. Терехов, естественно, был заинтересован в добросовестности своих корреспондентов. Надя его никогда не подводила. Многие письма солдаты зачитывали вслух. Надины чтению не подлежали. Терехов боялся, что солдаты, услышав ее слова, будут смеяться.

А она между тем ничего смешного не писала. И о первом свидании своем не вспоминала. Может быть, другие парни начали интересоваться ее больше. А может, не вспоминала из-за своей гордости. И правильно делала. Терехову, когда он садился за письма к ней, приходили в голову слова строгие и назидательные, какие он, будучи вожатым, произносил своим пионерам. И он писал ей о сложности международного положения, и о том, как трудно быть отличником боевой и политической подготовки и по утрам ползать под колючей проволокой по-пластунски, и о том, как красивы на зеленоватом небе сияния, не будем говорить, какие именно, а скажем прямо – северные. Обычно он рисовал на полях всякие забавные фигурки. В части их оказалась хорошая изостудия. Терехов и во Влахерме серьезно относился к живописи, только положение спортивной звезды заставляло его стесняться своего увлечения и делать вид, что это так, ерунда, а тут он торчал в студии вечерами. Из Надиных писем Терехов узнавал все новости о Влахерме, о своих друзьях, о своей семье, о самой Наде. Она писала обо всем. О том, как решилась прыгнуть с парашютом. О том, что бросила плавание и занялась художественной гимнастикой («для фигуры, у нас школа хорошая»), а потом фигурным катанием «для того же самого...». Все идет хорошо, ее заметили, а совсем недавно возили на соревнования. А еще сейчас входит в моду «рок», о котором ты, конечно, слышал, приедешь, научу.

Когда он вернулся домой из армии, его замотало, как мяч по футбольному полю. Вечно являлись какие-то гости, щупали значки на его гимнастерке, вспоминали о своей службе, пили, пели, сам он ходил во всякие компании, подолгу и с увлечением говорил о гранатометах, танках, шныряющих по дну рек, и ракетах, похожих на карандаши, ну и о сидении на «губе». В этой карусели иногда вспоминал он о своих житейских планах, но мысли о них были мимолетными и уходили тут же. Смутными были и видения девочки в белом платье, которую надо было навестить хотя бы из вежливости, тем более что она жила в одном с ним

доме. Но он ее так и не навестил, ходил по другим адресам, и только дней через десять, отравившись устраиваться электриком на фабрику, увидел на улице Надю.

«Вот тебе раз», – удивился Терехов. На пыльной влахермской улице среди озабоченных очередями женщин модная девица, взрослая совсем, в юбке колоколом и в туфлях на высоких каблуках казалась ослепительной. Вид у нее был независимый и деловой, волосы Надя отпустила длинные и выкрасила их в розово-рыжий цвет.

– Ничего себе нынче молодое поколение пошло, – сказал Терехов. – Вам бы тяготы и лишения...

– Здравствуй, Терехов! – обрадовалась Надя.

– Привет...

Они поговорили так, как будто виделись последний раз вчера вечером. Дела у Нади шли хорошо, решила она поработать на фабрике, а потом уже поступать в институт, ну теперь все так делают, сам знаешь. Ничего, пока интересно.

– Я там в армии в школу таскался, – сказал Терехов, – два класса прошел...

– Я знаю.

– Ну да, – спохватился Терехов, – я же тебе писал.

О чем-то они еще друг другу сказали, посмеялись, о знакомых вспомнили и разошлись. С тех пор Терехов встречал Надю часто, в городе с шестнадцатью тысячами жителей трудное дело не встретить ее. Разговоры их были шутливыми и легкими, и Терехов подумал, что детская Надина блажь прошла. Подумал почему-то с сожалением.

Работа на фабрике ему не нравилась, и деньги малые шли, их текстильный город вообще не мог дать Терехову настоящую мужскую работу, для Москвы нужна была прописка, интересовался Терехов заводами на соседних станциях, но ничего подходящего не нашел, посоветовался с отцом и махнул туда, где нас нет, – в Саяны. Стройка только складывалась, дни летели горячие, часов по тридцать в каждом набегало, и Терехову было не до воспоминаний и писем. Он приходил в барак пошатываясь, падал на кровать и проваливался в черное и теплое. Но однажды его разбудили, и, открыв глаза, он увидел в комнате Олега, Севку и Надю.

– А-а-а, это вы, – сказал Терехов, сказал так, словно бы он давно ждал эту троицу, а они все не появлялись.

Пока он спал, они уже все успели оформить и устроились с жильем. Терехов повел их по Курагину и показывал достопримечательности. Трое все время охали и радовались тому, что приехали сюда, в Саяны. «Это она нас уговорила, лентяев!» – смеялся Севка и показывал пальцем на Надю. И Надя смеялась.

Потом, когда Терехов остался вдвоем с Надей, он спросил:

– Ты чего это?

– А ты забыл, что я твоя невеста? – сказала Надя. – Забыл, да? А я по тебе соскучилась, Терехов... Не смогла я без тебя...

Говорила она вроде бы шутливо, а глаза у нее были серьезные и чуть ли не со слезами.

«Опять начинается детство, – подумал Терехов, – опять эта блажь...» А вслух сказал:

– Ну валяй-валяй... Невеста так невеста... Я где-нибудь себе запишу, чтобы не забыть...

Севка сразу устроился на трелевочный, он и под Влахермой уже успел поработать на тракторе; Олега взяли в бригаду Терехова, а Надя попала к штукатурам. Она просилась в шоферы, говорила, что умеет, показывала бумажки, но водителей набралось в Курагине тьма-тьмущая. И тут Терехов понял: очень здорово, что явились ребята и Надя с ними. Жил он последнее время со смутным и непреходящим ощущением беспокойства или тоски, оно казалось ему беспричинным, но вот приехала Надя, и это чувство исчезло.

Терехову было хорошо оттого, что теперь он каждый день видел Надю и говорил с ней, что она была под боком и никуда не могла деться. Иногда даже приходили ему в голову мысли: «А может, и впрямь невеста?..» Но мысли эти Терехов гнал и сердился на себя, он считал себя человеком уставшим и испорченным, и нечего было ему ломать жизнь чистой девчонке. Снова, как и в ту ночь на берегу канала, чувствовал он себя перепачканным маляром, не забывал, что идти ему надо шагах в двух или в трех от девицы в белом платье. Терехов, чтобы отбить всякие мысли о Наде, ходил иногда в смурные компании, познакомился с молодухой из соседней деревни, и та не жалела для него самогона. Однажды утром он проснулся у нее в избе и услышал визгливый лай хозяйской дворняги, чьи-то крики и рев мотора. Терехов оделся быстро и выскочил из избы. Самосвал боком приткнулся к самому крыльцу. На подножке его стояла Надя, волосы ее путал ветер, и Терехов не видел Надиных глаз, а кулаки ее были сжаты. Угнала чью-то машину и по горбатой проселочной дороге прилетела сюда. Стояла и повторяла:

– Как же это, Павел... как же это...

Терехов разозлился и закричал на нее:

– А что тебе надо? Что ты приехала сюда? Кто я тебе? Муж, жених? У тебя есть на меня права?.. Что я тебе, обещания какие давал, целовал тебя, врал тебе?! Что ты ко мне привязалась?! Делать тебе нечего!..

– Ты целовал меня, – сказала Надя тихо, – когда уходил в армию...

– Не вдалбливай себе в голову мути! У тебя своя жизнь, у меня – своя... Ты еще девчонка... Давно тебе пора понять... И нечего было угонять машину!..

– Я не верила, Павел, не верила я...

– Ну а вот теперь проверила и очень хорошо!

Он боялся, как бы она не заревела, только этого сейчас не хватало, но она и не думала плакать, стояла прямая, красивая, гордая и голоса не повышала.

– Ты понимаешь, Павел, что я теперь не смогу тебе этого простить... Никогда...

– Ну и хорошо! Ну и пошла к чертовой бабушке! – крикнул Терехов зло и дверью хлопнул.

Он прошел сени и был уже в комнате, и, когда заревел мотор самосвала, он остановился и слушал, как звуки машины становились все тише и как они совсем пропали. «Ну и хорошо! – повторил про себя Терехов. – Давно пора ей было понять...»

Через день он уезжал из Курагина. Бежал. Впереди на трассе начинали строить станцию и поселок, только что мост перебросили через Сейбу, надо было врубаться в тайгу, и Терехов уговорил начальство отправить его на Сейбу. Собирал он свои вещи молча, и никто ему слова не нашел в дорогу, только Олег не выдержал и сказал ему в глаза: «Это подло, Павел». Ничего Терехов не ответил, подтянул рюкзак и двинулся. Но на душе у него было мерзко, и, когда Терехов вспоминал о девчонке, застывшей на подножке самосвала, вся прежняя жизнь казалась ему глупой и скверной. И еще он знал теперь, что любит Надю и любил ее все время, и как ему жить без нее на Сейбе – представить себе не мог.

Года полтора не видел Терехов Надю и Олега, только Севка наезжал иногда на Сейбу, но Терехов его ни о чем не спрашивал. А потом, когда поселок уже врос в тайгу, перегнали на Сейбу еще несколько бригад, приехали с ними и трое влахермских. Было это месяца четыре назад. Терехов встречал теперь Надю каждый день, и разговоры они вели такие, словно бы в прошлом у них ничего не происходило.

Значит, ничего и не происходило...

7

В женском общежитии уже светились окна. Терехов прошагал по коридору степенно и постучал в дверь Илги. Услышав «войдите», толкнул дверь. В комнате была одна Арсеньева.

– Илга ушла, – сказала Арсеньева. – На репетицию.

– Ну ладно, – потоптался Терехов. – У нее, наверное, есть бинты и йод.

– Есть.

– Я ободрал ладони.

– Вот тут у нее в тумбочке аптечка. Я сейчас достану.

– Давай...

– Я помогу...

– Сам я...

– Я умею...

Она сказала это жалостливо, могла, наверное, обидеться, и Терехов нерешительно протянул ей ладони. Ссажены они были здорово, смотреть на них было страшно, и Арсеньева подходила к нему, сжав губы. Ватой, смоченной йодом, протерла она ему ладони, а Терехов морщился и качал головой.

– Как это ты?

– Да так... – загадочно проговорил Терехов.

Бинтовала она плохо, и пальцы у нее дрожали, а бинт топорщился и сползал влево. Терехов все пытался сказать ей: «Ладно, я сам», но Арсеньева торопилась, нервничала, и Терехов терпел. Наконец она выпрямилась, и тогда Терехов с сомнением поглядел на неровные белые мотки и поспешил спрятать руки.

– Я перебинтую, – сказала Арсеньева.

– Ладно, хватит.

– Я перебинтую вам...

Она перешла на «вы», а это было совсем ни к чему, и Терехов сдался, вздохнул и снова протянул ей руки. Ее руки были мягкие и нежные, теперь они старались не спешить, Терехов чувствовал их прикосновения и думал о том, что стоят они с Арсеньевой друг против друга и обоим неловко, странными и неестественными сложились между ними отношения, и виноват, наверное, в этом он сам.

Арсеньева была из тунейдок, высланных в места таежные на перековку. Целую роту таких, как она, из проституток, слово такое, правда, не произносилось, у нас их не было, прислали в овощной совхоз на край минусинской степи. Перековки особой пока не происходило, наоборот, высланные смущали туземцев своими веселыми нравами и отсутствием интересов к полевым работам. Кое-кого из тунейдок тяготила их собственная компания, и они стали проситься на стройку. Вот и Арсеньева написала слезное письмо начальнику комсомольского штаба Зименко. Зименко встретил как-то Терехова, сунул ему в руки письмо, помолчал, сколько положено, и посоветовал эту самую девицу на Сейбу взять и вообще посмотреть в совхозе – может, еще кого стоит прихватить на стройку. «Как же, так ее Будков и оформит», – сказал Терехов, но в совхоз все же поехал, любопытно ему было взглянуть на тунейдцев.

Уходил из барака тунейдок Терехов, как из зверинца, бормотал: «Да... Тут пожарную команду вызывать надо...», уводил сероглазую скромницу, повязанную платком, посоветовал ей сурово: «О всех этих штучках – забыть! Иначе...»

По дороге на Сейбу рассказывала она о себе, всхлипывала и рассказывала. О том, как пошла по своей тропке, о сумрачных днях в колонии и хмельных на свободе, о том, как вдруг пришла к ней любовь, самая настоящая, и все в ее жизни перевернула, только поздно было, высылали ее в тайгу, по этапу. А он, гражданский летчик, остался в России, в Воронеже,

обещал писать, а сам никак не напишет, она все ждет, а письма все нет и нет, – может, где-нибудь по дороге затерялось, конверты ведь крошечные, а может, лежит в Абакане на почте, надо только его востребовать, съездить в Абакан и протянуть руку в маленькое окошко.

– Ничего, напишет, – успокоил Терехов. – Как зовут-то тебя?

– Аллой. Это на нашем жаргоне я Аэлита.

Будкову поездка Терехова в совхоз не понравилась. «Там в России люди в райкомах из-за путевок дерутся, а вы нам приводите всяких...» Но все же оформить Арсеньеву он согласился, потому что не хотел ссориться с Зименко. А Терехов знал: придет день, и Будков припомнит ему Арсеньеву, сощурит свои карие глаза и скажет: «Ну вот, видите, погнались вы за модным, перевоспитывать-то теперь модно, а вышел конфуз». Об этом взгляде прищуренных глаз Будкова Терехов не забывал, и оглядка на них осложняла его отношения с Арсеньевой. Как только оказывался Терехов рядом с Арсеньевой, он вспоминал о своей ответственности за ее новую жизнь, становился прямым и неестественным. Он старался казаться лучше, чем он был на самом деле, употреблял правильные слова, понимал, что это глупо, но поделать с собой ничего не мог. Может, из-за этого дурацкого состояния и Арсеньевой жилось не сладко. Работа у нее совсем не клеилась, а по вечерам сидела она одна, повязанная платком, как монашка, печальная и немая, и на все приглашения говорила «нет». И сейчас, когда она бинтовала Терехову ладони, чувствовал он себя неловко и все ждал, когда она закончит свое дело и можно будет уйти из этой комнаты, сбежать в столовую, в поселковый их культурный центр, где собирались сегодня любители драматического искусства, большие мастера, и где была Илга.

– Спасибо, – кивнул Терехов. – Теперь хорошо.

– Вы садитесь, – сказала Арсеньева. – Вот же стул. Садись.

– Я хотел... Мне... Ну ладно, я посижу чуть-чуть...

Она попробовала улыбнуться, и губы Терехова тут же разошлись, но ее улыбка быстро погасла, и она сидела и смотрела на дождевые капли, ползущие по черному стеклу.

– Погода жуткая, – сказал Терехов.

Она кивнула, прошептала:

– И до Абакана не доберешься...

Значит, думала все время о своем летчике и о том, что в Абакане на почтамте ждет не дождется ее воронежское письмо. Терехов поглядывал на Арсеньеву и все удивлялся ее красоте. Не разглядел он ее в первый раз, там, в совхозе, невзрачной и несчастной показалась она ему, словно бы грехи замаливающей; сгорбившаяся чуть-чуть, торопливо шагала она за ним. Она и на Сейбе не снимала платка, словно в скит пришла, не красилась, а глаза прятала. Но однажды подняла она голову, и Терехова поразила глубина ее серых больших и чуть влажных глаз. «Вот черт! – подумал Терехов. – Завораживала она, наверное, своими глазами». И лицо ее совсем преобразилось, стало мягким и лукавым, скинула, забывшись, Арсеньева платок, волосы у нее были густые и светлые, и Терехов понял, какой видели эту женщину мужики на шумных улицах. Терехов тогда неожиданно для самого себя нахмурился, и Арсеньева, заметив это, спохватилась, быстро повязала платок и снова опустила глаза. А теперь она смотрела на дождевые капли.

– Илга ничего не говорила, – спросил Терехов, – когда придет?..

– Нет, – сказала Арсеньева.

Терехов хотел встать и уйти, но в дверь постучали. Постучали резко и вместе с тем игриво.

– Войдите, – сказала Арсеньева.

Дверь заскрипела, и бурая медвежья лапа появилась, лапа была с наманикюренными когтями, здоровая, продвинулась из-за двери и вцепилась в ее никелированную ручку. Арсеньева растерянно взглянула на Терехова, а Терехов усмехнулся. Дверь приоткрылась, и

Чеглинец, помахивая медвежьей лапой, ввалился в комнату. Грудь колесом, глаза сытые и хмельные.

– А, и начальник тут! – обрадовался Чеглинец. – Понятно. По естественным нуждам...

Чеглинец попытался засунуть лапу в карман брюк, уважительно раскланялся перед Арсеньевой, распрямился с трудом.

– Не знаю, к кому он, губернатор-директор, а я – так к тебе. Хотя и он знаю, к кому...

Арсеньева промолчала и на Чеглинцева смотреть не хотела, и Чеглинец пожал плечами. Он потоптался у стола, а потом стал бродить по комнате, изучал все внимательно. На огоньковский табель-календарь, приклепленный к стене, полюбопытствовал, мальчишку, изображенного на календаре с камышиной во рту, пожурил: «Все никак не может дожевать свою палку!», перешел к Илгиной кровати и оленей на коврик потрогал пальцами. Шагнул он покачиваясь, и Терехов подумал, что после его ухода они втроем под медвежатину добавили, видимо, еще водки.

– Садись, – посоветовал Чеглинцеву Терехов.

– Я сяду, – сказал Чеглинец. – Я такой. Я простой...

Помолчали.

– А почему рты-то закрыты? – спохватился Чеглинец. – Меня, что ль, застеснялись? Я могу уйти... Хотя нет...

– Тишину слушаем, – сказал Терехов.

– Тишины не бывает, – сказал Чеглинец. – Покой нам только снится. Главное, ребята, сердцем не стареть.

– У тебя оно вообще-то есть? – сказал Терехов.

– На четыре килограмма. Во! Размером с футбольный мяч. Так и прыгает. Туда-сюда! Смотри, – Чеглинец показал пальцем на Арсеньеву, – а она мне даже не улыбнется. Сидит хмурая, как бурундук перед волком. А я же добрый. Аллочка, ну взгляни на меня, ну улыбнись. Вот! Смотри, Терехов, улыбнулась! Посмотрела, как будто рублем одарила... Ну еще раз, а... Посмотрела еще раз, обратно взяла...

Физиономия у Чеглинцева была такая веселая и такая добрая, что, глядя на него, Терехов заулыбался. Но Арсеньева сидела монашкой и капли пересчитывала на черном стекле, только раз на мгновение позволила себе улыбнуться и тут же снова ушла в свой скит. Чеглинец не выдержал, подъехал с шумом на табуретке к ней и будто бы незаметно положил ей руку на плечо. Арсеньева дернулась, вскочила резко, оленихой из тигриных лап, и молча застыла у окна, пальцем водила по чуть запотевшему стеклу.

– Ишь какая пугливая, – сказал Чеглинец. – Не поймет, видно, из-за чего я пришел... Вот Терехов – из-за Илги. А я так из-за тебя.

И Терехову подмигнул: ты тоже уразумей, зачем я сюда притащился, а уразумев, сообщай, что тебе здесь не место.

– Аллочка, – сказал Чеглинец, – попрощаться с вами я пришел. Последний нынешний денечек гуляю с вами я, друзья. Завтра начальник дает машину – и привет!

– Так я и дам, – хмыкнул Терехов.

– Дашь, – сказал Чеглинец. – А у тебя, Аллочка, я для начала попрошу фотографию. Вот такую. Всему Сергачу буду показывать: моя таежная любовь... Терехов, а она все хмурится. Смотри, смотри, хочет улыбнуться, а сдерживается. Во – улыбнулась. И снова. Терехов, она меня не уважает. Аллочка, я уберу руки. Ты садись.

– Какую фотографию? Зачем? – Улыбка у Арсеньевой получилась искусственная, но сестра она села.

– В минуты разлуки, – заявил Чеглинец манерно, – твоя улыбка поддержит теплящуюся во мне жизнь. – Он вытащил из кармана авторучку, а потом замусоленную фотографию

и стал ее надписывать. – А я тебе свое выражение лица оставлю. Сними табель-календарь и повесь ее.

– Не надо, – сказала Арсеньева.

– Нужно ей твое выражение лица, – добавил Терехов.

– Нужно, – кивнул Чеглинцев. – Это точно. Ну ладно, я перепишу дарственную надпись. Чтобы не было намеков. Я возвращаю вам портрет и о любви вас не молю. В моей любви упрека нет и так далее с приветом.

– Спасибо, – сказала Арсеньева и сунула карточку на подоконник.

– Там она отсыреет, – расстроился Чеглинцев. – Аллочка, а теперь в обмен...

– У меня нет фотографий...

– Ну, Аллочка!.. Все равно как не родная...

Чеглинцев сидел перед ней и играл страдания. Ресницы его хлопали и глаза блестели, будто бы от слез. Арсеньева прикусила даже губу, чтобы не заулыбаться, чтобы не изменить своему выражению царевны Несмеяны, и все же не выдержала и заулыбалась. Терехов стал серьезным, понял вдруг, что именно Несмеяна его и устраивала, что раньше все шло правильно, и Арсеньевой так и полагалось страдать и каяться, а улыбка к ней должна была прийти не скоро и трудно, как и вся ее новая жизнь. Ему даже показалось, что она его обманула, припрятав улыбку, притворившись несчастной и слабой. «Фу-ты, чушь какая! – подумал Терехов. – Надо же, прилезет такое в голову?»

– Медведя доели? – спросил Терехов.

Открылась дверь, и вошла Илга. Чеглинцев, собиравшийся ответить Терехову, подмигнул ему и шлепнул ладонью по столу. Илга заметила Терехова, вспыхнула, растерялась, Терехов это видел, кивнула ему не сразу, а он, заерзав на стуле, проворчал ей: «Здравствуй...» Она искала что-то в своей тумбочке, движения ее были неловкими, она чувствовала, что Терехов смотрит на нее, и Терехов понимал ее состояние, но что он мог поделать? Илга выпрямилась, белые мягкие пряди отвела со лба, держала в руке синенький томик чеховских пьес, а сказать что, не знала. Куртка ее была мокрой, и сапоги Илга постеснялась снять при Терехове, и черные следы вели от двери к тумбочке.

– Зуботехник, зуботехник, – сказал Чеглинцев, – погляди на мои зубы. Где найдешь еще такие.

– Да, у вас интересные зубы, – сказала Илга, – я бы посмотрела на них, если бы не спешила на репетицию.

– Рудик проведет репетицию? – спросил Терехов.

– Рудик. Но он очень нервничает. Да, Терехов, я бы очень хотела, чтобы вы повлияли на Аллу, у нее определенно сценические способности, а она сидит тут...

– Вот как? – удивился Терехов.

Длинная фраза и обращение к нему дались Илге трудно, Терехов это понимал, она покраснела еще больше и с места сойти не могла, стояла неуклюже, высокая, строгая, светловолосая, в мокрой кожаной куртке похожая на комиссара, и книжку держала, как планшет.

– Ладно, ждут меня, – сказала наконец и быстро вышла из комнаты.

– Приветик, – взмахнул рукой Чеглинцев и подмигнул Терехову и глазами ему показал: давай, мол, шагай.

Но Терехов только руки из-под стола вытащил, Илга так и не заметила бинты на них.

– Вот тебе раз, – скорчил рожу Чеглинцев. – Когда это?.. Как это ты?.. Медведицу, что ли, встретил?

– Ага, – сказал Терехов.

– Ну уж что ж... Ну раз так... Аллочка, я ведь жду фото... Я хочу говорить про любовь...

– И вправду у меня нет...

– Терехов, какие у нее глаза, а Терехов?

– Не надо, не надо, зачем...

– Аллочка, я уберу руки...

– Иначе я снова встану и отойду к окну...

– Аллочка, я столько тебе не высказал... Ты думала, что я так и уеду, не рассказав о своей любви?

Терехов встал и закурил сигарету. Он нервно шагал по комнате. Он поглядывал на Арсеньеву и Чеглинцева, но те не обращали на него внимания. Терехов чувствовал себя оскорбленным отцом, на глазах у которого соблазняли дочь. И Терехов еще пятнадцать минут назад думал, что Арсеньева будет молчать, а потом ударит Чеглинцева по рукам, напомнит ему о своем воронежском летчике, выгонит его и снова застынет за столом в печали. Но она о летчике не напоминала, и глаза у нее были совсем не грустные, и руки Чеглинцева лежали уже на ее руках. Терехов ворчал про себя, он знал, что грубая и откровенная напористость в любви действует часто сильнее долгих и тонких подходов, и Чеглинцев, ерзавший на своей табуретке, давал ему сегодня урок. «А что я – евнух, что ли? – подумал Терехов. – И мне бы сейчас догонять Илгу, раз уже все так получается...» Но он не пошел за Илгой, а присел на стул и хмуро докуривал сигарету.

– Терехов, – обернулся Чеглинцев, – а я думал, что ты ушел.

– На улице слишком сыро, – сказал Терехов, – а здесь тепло.

– Тебя, наверное, ждут? А?

– Может, и ждут. А может, и нет...

Чеглинцев ничего не сказал, он просто хитровато, как союзнику, подмигнул Терехову: давай, мол, давай проваливай, сам понимаешь...

– Я сейчас уйду, – кивнул Терехов, – вместе с тобой.

– Я не спешу, – сказал Чеглинцев.

– Мы уйдем с тобой, и сейчас.

Чеглинцев пожал плечами, рожу скорчил и, отвернувшись, продолжал веселый разговор.

– Пошли, – встал Терехов и положил руку на плечо.

– Ты чего?

– Прощайся и пошли.

– Иди гуляй, – заявил Чеглинцев и захохотал, ноги вытянул, устроился поудобнее, устроился надолго.

– Вставай и пошли, – приказал Терехов.

Глаза у него были суровые и злые, и Чеглинцев встал. У двери он обернулся, помахал Арсеньевой рукой, подмигнул ей: жди, мол, не отсырей, а Терехов подтолкнул его вперед, и по коридору они пошли быстро и молча, а на крыльце остановились.

– Ты чего? – спросил Чеглинцев.

– Иди домой и собирай шмотки, – сказал Терехов. – А к ней не приставай.

Чеглинцев захохотал и пальцем повертел возле виска.

– Я тебе говорю, уходи.

– А то чего будет?.. – хохотал Чеглинцев.

– Морду набью.

– Мне?.. Да?

– Я сказал. Уходи.

– А если это любовь? – хмыкнул Чеглинцев.

– Знаю я эту любовь в последний нонешний денечек.

– Помешали тебе ее перевоспитывать?.. Или для Севки сохраняешь... А?..

– Ладно, хватит!

– Сейчас... Бабу-то тебе эту все равно не переделать.

Они стояли друг против друга, никогда не злились друг на друга так, а теперь в последний день смотрели врагами, Чеглинцев еще пытался ухмыляться, словно бы сказать хотел: «Ну-ну, я сейчас пойду к ней, и что мне за это будет? Морду набьешь?.. Мне-то?.. Не спутай меня с Тумаркиным...»

– Ну ладно, – сказал Чеглинцев, – чего здесь мокнуть-то. Пойду я...

Он уже открыл было дверь, но Терехов тут же схватил его за руку и дернул так, что Чеглинцев вылетел с крыльца и, поскользнувшись, осел в грязь рядом с лужей. Чеглинцев вскочил тут же, прыгнул, хотел ударить Терехова, но руку опустил и пальцы разжал.

– Ладони я твои жалею, – проворчал Чеглинцев, – в бинтах они.

А подумал он не о бинтах, а о том, что уж если есть человек на Сейбе, который на самом деле может набить ему морду, так это Терехов, когда он злой, и о том, что именно от Терехова зависит, получат ли они завтра втроем машину или нет, и зачем его сердить, и еще о том, что воспоминание о ссоре с Тереховым, наверное, в его завтрашние солнечные дни будет горше воспоминания о неудаче с Арсеньевой. А Терехов стоял рядом, хмурый, наклонивший голову, расслабивший руки, но готовый принять боксерскую стойку, и ворчал про себя. Совсем ни к чему была ему эта драка, он вообще никогда не давал волю рукам, а тут дал; казалось ему, что он злится из-за всего, что случилось сегодня и вчера, и в драке хочет дать выход своему раздражению. Но, несмотря на все эти свои мысли, с места он не двигался, а продолжал стоять и смотреть в упор в синие чеглинцевские глаза.

– Ну ладно, – не выдержал Чеглинцев, – напугал ты меня. Пойду домой.

– Валяй, валяй...

Чеглинцев махнул рукой и пошел к своему общежитию, пошел вразвалку и не спеша, лапу медвежью вертел перед носом и говорил ей что-то, а Терехов стоял и курил у крыльца. Потом он увидел, как Чеглинцев остановился, повернулся, постоял покачиваясь и стал размахивать руками и орать что-то и бросать в его сторону комья грязи. Но Чеглинцев был уже далеко, и комья грязи не долетали до Терехова, и криков Чеглинцева из-за ветра Терехов разобрать не мог, да и не старался разобрать.

А Чеглинцев орал ему: «Ах ты сволочь! Да я тебя сейчас... Да ты...» Он ругался и кулаками грозился, потому что почувствовал себя обиженным. Он совсем не так думал провести свой последний вечер сейбинской жизни, он представил себе, как мог он сейчас лежать с Арсеньевой, и гладить ее руки, грудь, ноги, и целовать ее, все равно уж у нее такое назначение радовать мужчин, а теперь приходилось месить грязь. Он был очень злой и желал драться с Тереховым, но бежать было далеко, а впереди маячила новая жизнь, и Чеглинцеву возвращаться стало лень.

Терехов бросил сигарету в лужу и пошел в другую сторону. Он был мрачен и не знал, что ему делать. Он был мрачен, потому что не смог пойти с Илгой, не возникло у него никакого желания проводить ее и под руку провести мимо Надиных окон. Не мог он гулять с ней, потому что любил одну Надю и никакие его логические рассуждения, уговоры самого себя не успокоили и не помогли ему.

За домами и за деревьями, внизу, шумела Сейба, и Терехов решил пойти к ней, он любил сидеть на ее берегу и смотреть на суетливую сейбинскую воду. Темнело, и улица была пуста, Терехов шел медленно и у фонарного столба неожиданно свернул влево. Через минуту он был уже у семейного общежития, Надины окна желтели, Терехов прошел мимо них и увидел за столом в комнате Олега. Олег сидел, наклонив голову, и писал, наверное. Терехов, словно вспомнил о чем-то важном, поднял воротник плаща и быстро зашагал к Сейбе.

8

Кто-то прошел под окнами. Олег почувствовал это, поднял голову и в синеве улицы увидел быструю длинную фигуру, тут же исчезнувшую. «Терехов? – подумал Олег. – Нет, не успел рассмотреть...» Он положил ручку на стол и хотел было сказать Наде, что к ним идет Терехов, но раздумал и стал ждать шагов в коридоре. Надя забралась на постель, ноги подтянула под себя и читала «Иностранную литературу». Олег любовался ею, ему очень хотелось подойти к Наде, взлохматить ее волосы и поцеловать ее, но он боялся, что в дверь сейчас постучит Терехов.

Надя была тихая, усталая, наверное, а может быть, увлеклась журналом или хотела оставить его наедине с белым листком бумаги. Олег ежился, его знобило после того, как он, возвращаясь из Сосновки с набитыми сумками и рюкзаком, прошелся по мосту через Сейбу и та, беспокойная сегодня, словно взбесившаяся, обдала его холодными брызгами, льдышками за шиворот попала. А потом случилось ему шагнуть с моста в яму с сейбинской водой и вымокнуть до пояса. Кроме этих мокрых и холодных ощущений испытал он еще у Сейбы не очень понятное ему тревожное чувство, отделаться от которого он так и не смог. Эта тревога вместе с ожиданием Терехова не давала ему сосредоточиться.

Но Терехов в дверь не стучал и шагов его в коридоре не было слышно, кто-то другой прошел мимо их окон, Олег снова взял ручку и придвинулся к столу.

Как и сегодня утром, когда Олег собирался говорить с Тереховым, он волновался сейчас, и ему хотелось, чтобы Терехов пришел быстрее и первые бы чепуховые слова успокоили его. И еще его волновал разговор с матерью, так называл он свое письмо к ней. Он оттягивал его долго, неделю уже, но сегодня Надя сказала: «Пиши», и Олег сел за стол, а лист все оставался чистым. Мать была далеко, за четыре с половиной тысячи километров, и о женитьбе его могла узнать только через пять, а то и больше дней, но Олегу казалось, что сейчас она видит его и слышит его мысли и курит нервно, положив ногу на ногу.

Известие о том, что он женится на Наде Белашовой, мать обрадовать не могло, Олег это прекрасно знал. И если бы они с Надей нынче были не в Саянах, а во Влахерме, все происходило бы в тысячу раз тяжелее. Надя и сейчас забралась на кровать, молчала и смотрела в журнал, потому что она не могла и не хотела участвовать в его разговоре с матерью. Все в их жизни они условились делить пополам, а это дело досталось ему одному. Впрочем, Олег убеждал себя, что он выполняет просто формальность, есть такое понятие «долг вежливости», вот он и должен показать, что он человек воспитанный, а так, в конце концов, ему наплевать, как отнесется мать к его женитьбе.

Но, по правде говоря, все было не так. Мать оставалась матерью, а он оставался ее сыном. И он знал, что для матери, несмотря ни на что, он был самым дорогим человеком на земле, и она хотела знать о каждом его шаге. И потому Олег, принимая ее чувства, сообщал ей о своей жизни, сухо и кратко, но сообщал, чтобы она была спокойна. Может быть, мать строила еще иллюзии о своих с ним отношениях, еще на что-то надеялась и не хотела примириться с очевидным, с тем, что с сыном они стали людьми чужими. И однажды Олег попытался поговорить с ней откровенно и на равных, но мать рассердилась и оборвала его: «Ты еще будешь учить меня, ставить мне условия!.. Наслышался разговоров о конфликте поколений... А я жертвовала всем, растила тебя...» – «Ну ладно, ну ладно, не будем об этом, не будем, – разволновался тогда Олег, – пусть все остается, как было...»

Если бы она расплакалась, если бы слабость или растерянность появились бы тогда в ее глазах, в ее лице, Олег, наверное, не выдержал, подошел бы к ней и обнял ее и голову ее успокоил на своем плече. Но лицо у матери было суровым и сердитым, говорила она энергично, деловым своим голосом, как будто в кабинете отчитывала товарища за ошибки и

заблуждения, и слова находила такие, которые Олега не трогали. «Подумай, повзрослей», – закончила мать. «Хорошо, хорошо...» – уныло пообещал ей Олег.

Больше он никогда не возвращался к этому разговору и не хотел выяснять с ней отношения. Все было бы проще, если бы его отчуждение было вызвано обидой, нанесенной ему матерью, несправедливостью ее. Но дело было не во взаимных обидах и недоразумениях, а в том, что мать стала человеком, по понятиям Олега, не отвечающим требованиям общества, шагнувшего вперед. Он понимал, что это противостоит природе – не любить мать, но и не хотел заниматься ханжеством и доказывать самому себе, что он любит ее. Да, он был ее сыном, она дала ему жизнь, и он готов был заботиться о ней, но любить он ее не мог. Временами он даже чувствовал, что ненавидит ее, он гнал эти мысли, называл их кошмарными, но менялось ли от этого его отношение к ней? Они были чужими людьми.

– Что? Что ты говоришь? – спросил Олег.

– Я? Ничего... – сказала Надя.

– Мне показалось... А Терехов все не идет...

– Он может совсем не прийти.

– Он обещал... Ну ладно, ты мне не мешай.

Олег вспомнил вдруг Влахерму, и почему-то ему ясно представился мост через канал, разрушенный в сорок первом, мост, который никакого отношения ни к матери, ни к нему не имел. Потом вспомнил себя совсем мальчишкой, дошкольником, был апрель, капало с крыш, а снег все лежал на улицах, грязный и мокрый, и хлюпал под ногами, а голос Левитана гремел из черного бумажного диска громкоговорителя, залатанною кусочками изоляции, и рассказывал о том, что нашими войсками взята Одесса. Олег натянул рваное пальтишко, перешитое из Сережкиного, надел калоши и выскочил на улицу смотреть салют. Даже если бы он залез на дугу моста, он и тогда не смог бы увидеть Москву и зарево над ней, но во Влахерме стояла учебная часть десантников и по ракете отправляла в небо в поддержку каждого столичного залпа. Когда погасла двадцатая ракета, Олег поплелся домой и в своем подъезде столкнулся с почтальоншей Клевакиной. Он ее и днем видел возле их дома, она бродила со своей сумкой и все поглядывала на Олега. Клевакина стояла растерянная и молчала, потом всунула ему в руки маленький конверт, прошептала. «Вере Михайловне... Днем не успела я...» И пропала в черноте. Олег поднимался на третий этаж с предчувствием чего-то страшного. Мать, увидев конверт в его руке, побледнела и опустилась на стул. Потом она рыдала, и Сережка, старший брат Олега, ее успокаивал, и сам плакал, и Олег ревел вместе с ними. Отец, которого Олег почти не помнил, погиб, «пал смертью храбрых». Олег понимал, что произошло жуткое, и все же, плача, он думал, что завтра во дворе все его будут жалеть и сочувствовать ему и взрослые парни разрешат ему ударить по настоящему кожаному мячу, а в военной игре с мальчишками ему без спора и драки дадут ржавый немецкий автомат, и он станет нашим разведчиком, который всех этих немцев...

Мать все повторяла: «Мы теперь остались одни... одни...», все глядела на фотографию, где отец был с капитанскими погонами, какие-то тетки со всего дома явились ее успокаивать, приговаривали: «Во всех семьях, милая, так», одноногий дворник, царапая кулечей паркет, принес Олегу свой баян, разрешения дотронуться до которого Олег вымаливал года два, и Олег сидел и плакал и раздвигал истертые мехи, так и заснул в тот день, положив голову на баян.

А через полгода мать снова рыдала, прижимала к себе Олега и повторяла: «Вот мы и остались с тобой одни». Сережки не было рядом с ними, потому что два часа назад похоронили Сережку. Прибежали накануне соседи: «Ваш подорвался!...» Все пацаны постарше возились с оружием, гранатами и минами, которые еще остались во влахермской земле после боев и десятидневной немецкой оккупации, вот и Сережка со своим другом Пашкой Тереховым в окопе у села Андреевского нашли смятый пулемет, дырявые каски и гранаты. Они

затеяли атаку, и, когда Пашка залег с пулеметом в окопе, граната разорвалась у Сережки в руке. Пашке, глазевшему на наступление врага, осколок оцарапал щеку, перепуганный Пашка тащил на себе приятеля километров пять в больницу, но там бинты понадобились только ему.

Недели две мать водила Олега с собой на работу на фабрику, или мануфактуру, как называли ее старики из их дома, шагали они с матерью мимо красностенных казарменных громад, и за пыльными стеклами нудно гудели машины. Мать работала в фабкоме, председателем, в кабинете ее было шумно, дым полз к форточке. Олег бродил по коридорам, мешался в ногах у взрослых людей, ерзал на клеенчатом сиденье стула, ему было скучно, но мать его не отпускала, она боялась, как бы теперь не случилось несчастья с ним. Олег тоже боялся, просьбы матери об осторожности и предчувствия тетюшек, высказанные со слезами и вздохами, напугали его, и он сидел на фабрике, в прокуренном кабинете, и смотрел на мать. Она ему казалась старой, а ей было всего лишь тридцать, тогда Олег делил людей на взрослых и ребят, и все взрослые были старыми, одни совсем старыми, а другие, к которым он относил свою мать, чуть помоложе.

Когда они оставались вдвоем, мать подходила к нему, гладила его волосы и приговаривала: «Только бы с тобой ничего не случилось...», и голос ее дрожал. В эти секунды она совсем не была похожа на деловую и энергичную женщину.

Олег тогда и позже не мог привыкнуть к этому раздвоению матери, способности ее на людях быть одной, а дома, с ним и с близкими, словно бы превращаться в другого человека. Он знал, что во Влахерме ее называют голосистой, она и на самом деле говорила громко и грубовато; впрочем, в их городе вообще разговоры велись на повышенных тонах, жизнь почти всех влахермчан была связана с фабрикой, с ее гудящими цехами, заставлявшими перекрикивать машины. Но голосистой называли мать, называли с любовью и гордостью, за другое. Голосистой бывала мать на трибунах всяких собраний, и никто лучше ее не мог произнести речь, провозгласить здравицу или заклеить кого-нибудь позором. Каждое ее появление на трибуне встречали аплодисментами, начинала она тихо, улыбалась так, что улыбался зал, а потом рубила рукой воздух, только изредка успевала отбросить назад длинные прямые волосы, говорила, как говорили, наверное, комиссары на митингах, и кончала так, что все вскакивали и кричали: «Да здравствует...» Влахермчане и праздника никакого не могли представить себе без речей матери, как без красных флагов.

И Олег пробирался в зал и стоял, волнуясь и гордясь матерью. Всем доставляли удовольствие ее слова, так казалось Олегу, а директор фабрики щурился в президиуме и, хлопая, говорил иногда в микрофон одну и ту же фразу: «Вот какие у нас советские женщины... Самые замечательные в мире...» Центральная газета напечатала очерк «Государственный человек» о Вере Плахтиной, из Москвы иногда за матерью присылали автомобиль, новенькую «Победу» или «эмку», или трофейный «БМВ», раскорячистый, как таракан, а чаще она ездила на паровике в столицу, там она заседала в важных комиссиях и комитетах – антифашистском, славянском, демократических женщин и еще каких-то, она встречалась с именитыми людьми, все знали, что орден она получила из рук самого Калинина, а однажды ей пожал руку Сталин. Вера Михайловна рассказывала об этом десятки раз, а ее все просили рассказывать снова и снова, требовали, чтобы она не упустила ничего, и мать все ездила и ездила по фабрикам и колхозам района, откуда к ней приходили заявки.

В тридцатых годах мать была одной из первых стахановок, ее имя гремело, как и имена Паши Ангелиной, Дуси и Маруси Виноградовых, и Олег удивлялся, почему по каналу не ходит буксир «Вера Плахтина». Мать смеялась, говорила, что забыли назвать, а однажды учитель сказал им на уроке литературы, что это про такую, как Вера Михайловна Плахтина, создан кинофильм «Светлый путь».

Мать уезжала из Влахермы часто, иногда на недели, все выступала и заседала, как полагось государственному человеку, а дела в фабкоме вел ее заместитель Степан Мокеевич Тришин, человек старенький, тихий и робкий, бывший бухгалтер.

Теперь, когда Олег оглядывался на послевоенные годы, он признавался себе в том, что жил тогда в обстоятельствах праздничной приподнятости. Хотя он, как и мать, все время чего-то боялись. Думая же о том времени отвлеченно, он видел его трудным и каким-то очень сложным, и многие теперешние книги и статьи, которые он читал жадно и с пристрастием, укрепляли его в своих раздумьях. Но если приходилось ему вспоминать просто какие-то эпизоды тех лет, то радостные лица вспоминались ему чаще, чем мрачные. А жизнь его была не такой уж сытой. Мать никогда не пользовалась благами, которые могло бы дать ее положение, была щепетильной, и Олег часто бегал голодным и в рваных парусиновых башмаках, выданных по ордеру, только прокатить сына вместе с другими ребятами в «Победе», приехавшей из Москвы, мать иногда решалась. Конечно, при всем этом было волшебство детства, чуть что напускавшее розовый цвет. Но дело, видимо, было не только в волшебстве детства. Не он один жил в те годы праздником.

И вот к тому благодущному и праздничному ладу, считал Олег, очень подходила его мать. Он гордился ею в те годы. Мать ходила по немощеным улицам Влахермы энергичной мужской походкой, говорила громко и властно, курила «Беломор», носила строгий костюм с белым воротничком, а иногда и гимнастерку. В комоды ее лежали довоенные платья и лаковые черные лодочки на толстых каблуках-обрубках. Платья были давно забыты, а туфли мать иногда надевала, отправляясь в Москву, дома же обходилась стоптанными ботинками и сапогами. Вид у нее был решительный и боевой, позже Олег узнал, что на случай, если бы немцев не сразу вышибли из Влахермы, мать должна была бы стать комиссаром партизанского отряда, и оружие на боку ей, конечно бы, пошло. Она была красива, это признавала вся Влахерма, строгой и суровой красоте ее подражали фабричные девчонки и двигались тяжеловато, по-мужски сгибая руки в локтях. Все смотрели на мать, Олег это чувствовал, где бы она ни появлялась, и вспоминали, какой ладной была она еще в девушках, а мать шла, каблук вдавливая в землю, величественная и прямая.

А дома мать становилась другой, и Олег ее не узнавал и боялся ее. Дома она бывала не так уж долго, приходила поздно, проверяла табель и тетрадки, хвалила сына, и тут же звонил телефон, и снова своим деловым, усталым голосом она говорила в трубку о премиальных, путевках, увольнениях, квартирах, ругала кого-то за то, что на вчерашние похороны не явился духовой оркестр. А потом мать сидела и курила, молчала, смотрела на фотографию отца, раскрашенную ретушерами за десять рублей, и на Сережкины рисунки танков и подводных лодок, похожих на крокодилов. Возвращаясь в земное из своих раздумий, мать говорила рассеянно: «Ты еще не спишь... Надо спать... Завтра много дел». Часто она приходила совсем поздно, когда он уже спал в своей комнате, его укладывала одна из сестер матери, Феня, одинокая и несчастливая женщина, безропотная и испуганная вечно, прозванная Чокнутой. Она жила рядом и стряпала и стирала, да все почти делала по хозяйству. Иногда Олег просыпался ночью, слышал за дверью чьи-то голоса, смех матери, гитарный перезвон, шипенье патефонной иглы. Олег лежал с открытыми глазами и боялся чего-то, фабрика гудела рядом, вечная ей была предписана бессонница. Дверь скрипела, мать, стараясь не шуметь, туфли скинув, ступала по коврику к его кровати, стояла над ним и шептала что-то, от нее пахло вином и духами. Олег застывал, деревенел, изображая спящего, а мать гладила его волосы и уходила на носках, пошатываясь. Олег так и не мог заснуть, пока не уходили, посмеявшись в передней, ночные материны гости, а наутро он ходил волчонком и старался не смотреть ей в глаза. Но однажды, он учился уже тогда в пятом классе, Олег не выдержал, соскочил с кровати и, как был, в трусах и в майке, рванул дверь и вошел в гостиную. Там сидели трое мужчин в зеленых и синих френчах и еще бухгалтерша с фабрики, но Олег

смотрел только на мать. Мать застыла напряженно на диване, ногу на ногу положив, гитару на коленях держала, волосы ее растрепались, белая кофточка была расстегнута на груди, а глаза смотрели пьяно и испуганно. Она вскочила тут же, вытолкала гостей в переднюю, и те ушли, смутившись, молча, мать прибежала, бутылки и окурки поубирала со стола, чтобы напомнить ни о чем не могли, кинулась к Олегу. Олег сидел на кровати и ревел, она обняла его и тоже заплакала, говорила много и нервно, о войне и еще о чем-то, но успокоить не могла, с ним была в ту ночь истерика. Через день мать водила его в больницу, врачи нашли истощение нервной системы, посоветовали съездить к морю. Мать отправляла его сначала в Артек, потом на пароходе до Астрахани и обратно.Guestы она больше не приводила, возвращалась домой раньше, но ее ненадолго хватило, снова стала заявляться ночью, а то и под утро, и подвыпившая.

И по Влахерме поговаривали о том, что мать гуляет, поговаривали без злорадства и возмущения, а даже с сочувствием. Как-то Олег возвращался домой с пионерского сбора, и парень из их класса толкнул его в бок: «Вон видишь, тот дядька, так он...» Олег прибежал домой, мать сидела перед зеркалом, губы красила, и Олег выпалил ей в лицо: «Как ты можешь! Это же фальшь, ложь это!.. Как ты можешь жить так! Что о тебе говорят! Разве могут такими быть большевики!» Мать поднялась быстро, подошла к нему, а он застыл перед ней, решительный и даже торжественный в белой рубашке и алом галстуке, мать обняла его, прижала к себе, говорила: «Какой ты стал... Ты вырос достойным... Я так счастлива, что ты такой, мой сын... Ты похож сейчас на Радика Юркина или даже на...» Она вдруг замолчала, сникла, опустилась на диван и заплакала. Она сидела жалкая и постаревшая, говорила, всхлипывая, о сложностях жизни, о ранах войны, о том, что он еще многого не понимает в силу своего детского разума, «а я баба, баба я...», что она человек несчастный, не на своем месте, все, что она делает сейчас, – это только обозначение чего-то, и зачем только оторвали ее от ткацких станков, от ее дела, говорила такие слова, от которых Олегу стало страшно, достала фотографию, где она была снята ткачихой, совсем девчонкой, улыбчивой красавицей. «Какой я только была, плясуньей, озорницей, а теперь словно в чужих платьях хожу...» Потом она плакала об отце и Сережке, Олег стоял растерянный, все еще старался быть суровым, но жалел ее и уже искал ей оправдание.

Он много думал об этом разговоре позже и успокаивал себя. Он посчитал, что слабости в человеке пока живут и никуда от них не денешься, все это идет от напряжения, от нервов, от усталости в главном великом деле, к нему они вроде бы естественное приложение. Они живут сами по себе и главного не чернят. Он вспомнил, что недавно сам стоял на сцене районного Дома пионеров в почетном карауле у знамени, это была высокая честь, но Олег стоял и думал не о знамени, а о своем животе, он болел у него, и Олег все ждал, чтобы его быстрее сменили. Ему было стыдно, ничего поделать он не мог.

Естественным, но не имеющим отношения к главному в жизни стало тогда казаться Олегу многое, и оно уже не возмущало его. Естественной казалась Олегу и атмосфера их квартиры, их жизни, то есть он даже в ту пору не думал о ней, а теперь-то он знал точно, что в атмосфере этой был растворен страх. Именно растворен, потому он и был незаметен. Мать вечно боялась чего-то, о чем он не знал. И она тряслась за каждый его шаг, сначала это Олега раздражало, как и то, что она при людях его, почти совсем взрослого мужчину, гладила по головке, но в конце концов он привык к ее страху, потому что уж такой была ее любовь. Он и сам стал бояться за себя, завидовал рискованным ребятам: и Терехову, и Севке, и другим своим приятелям, которым ничего не стоило нырнуть с моста, подраться до крови или добраться до Москвы на крышах коричневых товарных вагонов. Он смеялся над рассказами тетюшек и матери о ворах и убийцах, и те обижались, говорили, что много развелось после войны людей жестоких, кровь для которых – водица, он помнил всякие истории о том, как проигрывают последних в очереди в карты, подойдет хмырь в серой кепочке, сползшей на

глаза, ножиком, выточенным из напильника, пырнет в бок – и привет. А потому, отправляясь за хлебом или в керосинную лавку, в хвост очереди Олег вставал с оглядкой, и на душе у него было не сладко, он никак не мог успокоиться, пока не вырастали за спиной люди.

Однажды Олег притащил в дом со двора анекдот и рассказал его, мать поулыбалась, а потом стала серьезной и сердитой и Олега отчитала за то, что он слушает и повторяет такие мерзкие анекдоты, которые на руку нашим врагам. «Не вздумай болтать такие вещи, а если спросят, откуда узнал, говори: во дворе слышал, мать ничего не знает. И будь особо осторожен с дядей Семеном, дворником, он ко мне приставлен...» Глаза у нее были испуганные, и головой она качала, словно только теперь поняла всю серьезность дела.

А потом пришел пятьдесят шестой, шумный и сердитый, високосный год.

Для Олега тот год был трудным. Он стал совсем худой и нервный, все выступал на разных собраниях в техникуме, где он уже учился, голос срывал, врачи прописывали ему полоскание содой, а собраний и митингов было той весной побольше, чем занятий, и занятия-то превращались в споры. В своих суждениях он был резок, его любили слушать, к тому же, видимо, передались ему от матери ораторские способности. Всю ту весну он был в состоянии какого-то страстного порыва, которым, впрочем, были охвачены многие, он жил одним – революцией – и верил искренне, что служит ей, а такие прозаические вещи, как еда или любовь, казались ему кощунством. Вот тогда он и понял, что ненавидит мать.

Он пришел к этой мысли однажды, когда открыл дверь в комнату матери и увидел ее у трельяжа, она купила его недавно, в комиссионном, и теперь сидела перед ним, разложив на столике кремы, краски и коробочки с пудрой. «Актриса», – подумал Олег, она и на самом деле была похожа на актрису, забежавшую перед представлением в гримерную. Мать обернулась, и, наверное, глаза у нее были злые, потому что она испугалась и даже вперед подавалась, словно хотела закрыть от него все свои коробочки и флаконы. Он ей тогда ничего не сказал. Он так и не знал до конца, была ли она и вправду в те годы актрисой, понимавшей «кое-что». Дело было даже не в этом. Какие бы скидки Олег ни давал матери, вспоминая и о тяжелых условиях тех лет, и о том, что война искалечила ее жизнь, отняв мужа и сына, все же он считал, что мать причастна ко всему, что было при Сталине, и этого он ей простить не мог. А потому он почти и не разговаривал с ней. Несколько раз мать советовала ему быть поумнее, если уж заблуждаться, то заблуждаться про себя.

В техникуме Олег проучился недолго. Ему уже разонравилась будущая специальность – механика ткацких станков. В комитете он оказался в одиночестве, его вдруг стали называть революционером чувств, все говорили, что сейчас нужна практическая работа, а не речи, и другие обидные слова говорили. Олег расстроился и вышел из комитета. И решил съездить на целину. Два года он жил на целине, в разных совхозах, и все же не выдержал и вернулся во Влахерму, увидел мать и не узнал ее.

Он многого не узнал во Влахерме, то, что происходило у него перед глазами, принималось само собой разумеющимся и не очень значительным, а потому и не связывалось в сознании Олега с большими переменами. А во Влахерме он сравнивал и удивлялся.

Мать стала вполне современной женщиной. И мысли она высказывала вслух такие, за которые года три назад отчитывала Олега, оглядываясь при этом испуганно по сторонам. И речи ее были теперь подлиннее и повеселее, с пословицами и отступлениями от текста. Влахермские девчонки подражали теперь не ей, не ее прежней строгой красоте и суровым и энергичным манерам, наоборот, мать сама училась у них, прическу делала с начесом, а волосы у нее все еще были пышными, красила их, лицо приводила в порядок всякими импортными кремами и тонами, по часу сидела перед зеркалом, носила вывезенные из-за границы остроносые туфли и вязаные кофты, а побывав в Швеции с профсоюзной делегацией, привезла бежевый костюм из джерси и очень гордилась им, хотя он был ей мал, а она уже порядком располнела. И говорила она теперь не громко и не грубо, а нежно и даже не

без кокетства. И в сорок лет своих была она красива и ярка, и Олег видел, как посматривали на мать мужчины. Работала она уже не на фабрике, а в горисполкоме, кабинет у нее попросторнее, в углу стоял телевизор. За эти годы она могла многое понять и пережить, а потому быть теперь искренней, но Олег отвергал все попытки матери сблизиться с ним.

Чаще всего Олег обходился односложными ответами на ее слова. Он зашел к ней на работу и убедился, что, как и прежде, она зажигается иногда искренне и шумит, но это только десятая часть дел. И, как прежде, она хорошо говорила речи, любила это делать, и, как прежде, часто возвращалась домой немного хмельная и вились вокруг нее мужчины, элегантные в меру возможностей.

Олега это возмущало. В последние годы он и сам стал терпимее, и многие его пламенные мысли казались ему теперь смешными и неверными, но забыть он ничего не мог и простить матери ничего не мог. Хотя он снова вспоминал и о войне и о сломанной ее судьбе и готов был найти ей оправдание. Отношения их, очень приличные внешне, не могли стать лучше еще и потому, что мать не принимала его любви к Наде. Она ее не любила и щурилась сердито, когда говорила о Наде и Белашовых. Заметив, как смотрит Олег на Надю, она вскипела и долго не могла прикурить от зажигалки с красным галльским петухом на пупырчатом металле. «Думать о ней забудь, – сказала мать, – будешь с ней несчастливым».

Потом она пыталась говорить с ним спокойнее, но у него на все ее слова был один ответ. Откуда шла эта неприязнь матери к Наде, Олег не мог понять, то ли она ревновала его и потому «будущую разлучницу» заранее отвергала, а может быть, неприязнь пришла без всяких видимых причин, просто ведь бывает так, для матери эта длинноногая девица из журнала мод была загадочной марсианкой, неземные пороки чудились в ней, и доверить ей сына она боялась. «Взбалмошная, легкая девчонка, – говорила мать. – Все они, Белашовы, рискованные люди, сумасброды... Ты еще пожалеешь...» А Надю и на самом деле сумасбродной называла улица, и бабы в платочках, усаживавшиеся на обглаженные их задами скамеечки, охали, глядя на нее, но Олег считал, что Надю он знает лучше семечной улицы и ему судить, какая она.

Он обернулся и хотел сказать Наде что-нибудь ласковое, а потом бросить к черту свою писанину и подойти к ней, но он увидел, что Надя спит. Журнал, зачитанный, с лиловым негром на обложке, валялся на полу, а Надя спала прямо на одеяле, вытянув ноги в сшитых ею самую джинсах и кулаки подложив под голову. «Родная ты моя, – подумал Олег, – устала за этот нервный день...» Он подошел к ней без шума и стал гладить ее волосы и волновался, потому что хотел быть с ней, и ему было досадно, что она заснула, но разбудить ее он не решался, все сидел, и ему почудилось вдруг нечто красивое в том, что он должен подавить свое желание ради ее покоя.

Олег встал и подошел к столу. «Мать, мать, – подумал он, – а мать будет курить...» Он нервничал, и ему казалось, что причина тут одна – его всегдашние думы о матери, повторенные сегодня. Но он тут же понял, что не из-за матери нервничает, и перестал принуждать себя думать о ней, все глядел на Надю и радовался ею и досадовал на ее сон.

9

Ни черта не было видно. Терехов пожалел, что не взял фонарик. Впрочем, фонарик, наверное, мог бы заглядывать сегодня только под ноги и высвечивать лужи и ничем бы не помог, дождь бы тут же прихватил его лучи нервущейся своей сеткой. Ступая на каблук, вдавливая сапоги в грязь, медленно спустился Терехов по скользкому съезду с Малиновой сопки. Мост был метрах в ста впереди, и Терехов его не увидел. Сейба гудела и бесилась и не собиралась спать ночью. «Ничего, посуетись, пошуми», – подумал Терехов. Он вспомнил Будкова и их вчерашний разговор и слова Будкова о мосте и метеорологах, поводов нервничать не было, и все же Терехов решил, что завтра утром, как только станет светло, он отправится на мост с понимающими плотниками, и там они посмотрят, не надо ли чего делать. Терехов подержал сигарету под дождем, капли притушили ее, заставив пошипеть, и Терехов бросил окурочек. Ему захотелось найти камень и швырнуть его в воду, чтобы всплеск был, просто так, из неприязни к Сейбе, но, сколько он ни ковырял землю носком сапога, на твердое наткнуться не смог. И тогда Терехов сунул руки в карманы и пошел в поселок.

В сторожке у склада горел огонь. Терехов, подумав, толкнул дверь и шагнул в сторожку. Старик сидел у стола на лавке, овчинный тулуп накинув на плечи, и дремал.

– Нехорошо, – сказал Терехов, – на посту...

– А, Терехов, – встрепенулся старик. – Терехов, садись, садись, что ж уж...

– Нехорошо, – покачал головой Терехов, присаживаясь, – неугомонный не дремлет враг, а ты...

– Я сейчас, сейчас я посмотрю все, а ты сиди, сиди...

Движением плеч старик поправил тулуп, посадил его понадежнее и, кивнув Терехову, нырнул в дождь. Долго его не было, может быть, на самом деле старик рассматривал свои владения, а может, просто справлял нужду и, поеживаясь, смотрел вверх и поругивал небо за непогоду. Вернулся он с охапкой березовых дровишек и, согнувшись, стал колдовать у железной печки.

– Все на месте? – спросил Терехов.

– Ну, – сказал старик, местные не могли обойтись без этого «ну» и приезжих к нему приучили, сто значений передавало «ну» и сто оттенков было в каждом значении.

– Уволим мы тебя скоро, – сказал Терехов.

– Меня-то?

– Ну а зачем тут сторож, скажи на милость, кому эти железяки-то нужны. Тонны в них. Захочешь, не унесешь.

– Сторож-то всегда должен быть, хоть бы и воздух охранять, какое же хозяйство без сторожа.

– Вот ты не веришь, – сказал Терехов, – а я нынче начальником стал, приказ напишу, сразу поверишь...

– Нет, – замотал головой старик, – не уволите.

Он хорошо знал, что его не уволят, так же хорошо, как и то, что делать ему тут нечего. Но он был убежден в том, что без сторожа никак нельзя, как были убеждены, видимо, в этом люди, предусмотревшие в сейбинском штатном расписании фигуру бойца охраны. Ермаков мог настоять, чтобы должность эту прикрыли, но и он, и все ребята привыкли к старику, а по паспорту Ефиму Прокофьевичу Мокаенкову, и выгнать его было бы для них все равно, что срыть сопку, у которой они жили. Им казалось, что старик тут был вечно и это специально для него строят у Сейбы поселок со складом. А Терехов любил приходить в сторожку, просто так, потрепаться, отвлечься от напряжения, и каждый раз их разговоры начинались

с обещаний уволить, поддразниваний старика, и это было обязательно, если бы такого поддразнивания не было, старик бы забеспокоился и всерьез заподозрил бы нехорошее.

Он держался за свою должность, потому что пенсию получал маленькую, а деньги ему были нужны. Он жил в Сосновке с сорокалетним сыном и помогал ему растить семерых детей.

Старик уверял Терехова, что ему восемьдесят пять, а по паспорту было семьдесят восемь, его хотели забрать на японскую, он тогда и скостил себе в бумагах годы. Но лицо его казалось Терехову еще свежим, только в мутноватых удивленных глазах и в ослабевшем мягком рту была старость, да держался он неестественно прямо, а колени его чуть-чуть пошли вперед. У старика у самого было десять детей. А выжило только двое сынов. Один погиб в последнюю войну, а того, что поселился в Сосновке, немцы изранили. Было у старика две жены, обеих он пережил, хотел жениться в третий раз, а ему уже было, но его расчетам, восемьдесят лет, но пожалел сына, продал дом в алтайской деревне да корову да другую скотину, привез сыну двадцать пять тысяч, в старых, конечно, и положил на стол. Теперь хоть детишки получше одеты стали.

Сын его плотник и стекольщик и еще многое умеет делать, сельсовет ему работы находит, когда-то и сам старик был хорошим плотником, жил он неплохо, а братья его – еще лучше, даже машины железные приобрели. Кулаками они не были, но в Нарым попали. Теперь остался только он один в их крестьянском роду, бросившем землю в Гродненской губернии, Брест-Литовском уезде, ради сибирских фантазий. Он, да еще сын, да еще семь ребятишек сына. Он любит ребят, гостинцы им таскает по воскресеньям, рассказывает им, что это зайцы приносят им гостинцы. Старик и Терехову часто говорил о своих внуках, а Терехов чувствовал, что у него все – во внуках, и еще Терехов думал о том, что внуки эти, когда вырастут, не поймут жизни старика и его братьев. Потому что всплеск его жизни был лет пятьдесят назад, в юности, в ту пору, когда он служил в армии, сидел в окопах в первую мировую и, покалеченный, возвращался к своей земле.

В сторожке, если Терехов заходил к нему, старик суетился и хотел, как добрый хозяин, угодить гостю и развлечь его, а развлечь он мог только рассказами. В них жили барыни, усатые и лихие извозчики, золотые рубли и просвечивающие бумажки с фаянсовым бюстом императрицы Екатерины. И уж конечно офицер с эполетами, офицерская жена и ловкий, умелый в любви солдат. Терехов слушал проперченные байки старика рассеянно, из вежливости, а иногда из вежливости слушал старик его. Он даже кивал, но Терехов видел в его глазах снисходительное недоверие, и шло оно, наверное, от стариковского чувства превосходства, убеждения в том, что Терехов и вся эта молодежь – бестолковая и легкомысленная и ее жизнь смешна, а он взрослый человек, проживший ой-ой-ой, знает истину и многое такое, чего эти сосунки, может, и совсем не узнают. И еще в его глазах жили какой-то испуг и готовность согласиться со всем, что ему будут говорить, и, рассказывая свои истории, он то и дело останавливался на секунду, поджидая одобрения или, наоборот, осуждения его рассказа, и тому и другому он одинаково улыбался, лишь бы собеседник был доволен. По Терехов молчал, он приходил не слушать старика, а смотреть на него, на его обветренные пальцы, на движения его рук и на его глаза, он смотрел на старика не только потому, что хотел нарисовать его, просто рядом с ним он чувствовал себя, как на берегу моря, и мог сидеть часами и думать о вещах высоких и вечных, отвлекающих иногда от волнений сегодняшних.

– Радио, что ли, тебе сюда провести? – сказал Терехов.

– Можно и провести. А можно и как хотите. Как виднее вам. У вас забот-то сколько. Вон ты какой мрачный сидишь, озабоченный...

– Забот хватает...

– Я в твои годы веселый был... Чуб по ветру, только улыбался... Потому и девки липли... Гармошки не было, а липли... Из-за улыбки...

– Не хмурился никогда? И от любви не сох?

– Я не сох. Чего сохнуть-то! Одна не полюбит, другая приголубит. Все одинаковые. Я проверил. Знаешь, у нас в полку случай был. Солдат один, значит, в барыню втюрился. А до этого у него горничная была. Так вот, значит, к барыне подъезжать стал. А сам видный из себя, кобель хороший. Она его заметила. Узнал он однажды, что муж-то ее уехал к генералу, и через забор и к ней. Не выгнала она. Вино даже достала. Глупый ты, говорит, человек, чего ты по мне сохнешь. Одета я хорошо, видная, ну это правильно. Ну так что же? Вот, говорит, две рюмки, выпей. А одна рюмка хрустальная и пояс золотой на ней, а другая – простенькая, как шкалик из-под водки. Выпил. Ну, говорит, в какой вино вкуснее? Ткнул солдат пальцем на рюмку хрустальную. Барыня-то рассмеялась. Вино-то одно было! Понял, говорит, солдатик, только рюмки разные! Вот, мол, и бабы такие же. Понял?..

– Слушай, дед, – спросил Терехов, – Сейба всегда так расходится? В прошлый год она вроде потише была.

– Я тут сам, как ты. Без году неделя. Алтайский ведь я. Отольет свое и успокоится... Поворчат они любят, наши речки.

– Вот и я так думаю, – сказал Терехов.

– Ты понял насчет рюмок-то? Как она его!..

– Пойду я отосплюсь, – встал Терехов.

– Если сна не будет, милости просим, ждем с ружьем...

Терехов постоял у сторожки, зевнул. Он прислушался к шуму Сейбы, и ему показалось, что она стала сердитее и нервнее, а может быть, это ветер начинал разгуливаться к ночи. Ветры на Сейбинское плато залетали свирепые и озорные, вот и сегодня, наверное, один из них отоспался днем и, покряхтывая и потягиваясь, вышел теперь на прогулку. Он мешал Терехову шагать по грязи, толкал его, тоненькими своими язычками полизывал ему лицо.

Дома, в комнате, было тихо и скучно, и мысли Терехова снова побежали по привычной дорожке. Терехов взял книжку, чтобы отвлечься, но читать ее не смог. «Ладно, спать, спать, надо спать, – сказал себе Терехов, – а то завтра...» Он стягивал с себя одежду осторожно и не быстро, потому что ладони ныли. А вместе с их нытьем ползли воспоминания о затее с краном, и Надины испуганные глаза смотрели на Терехова, и ему было стыдно и мерзко. «Ладно, ладно, спать, утро вечера мудренее, утро вечера...» Но заснуть он не мог долго, все ворочался и все думал о Наде, доказывал себе, что все идет правильно. Но от этого Терехову не становилось легче, Надя сейчас была с Олегом, и чем бы Терехов ни старался отвлечь себя, воображение его было тут как тут и мучило Терехова. «Как только выздоровеет Ермаков, – думал Терехов, – уеду отсюда к чертовой бабушке, подальше в тайгу, к медведям, или вообще с трассы, куда-нибудь на Камчатку уеду...» В калейдоскопе явившихся Терехову мыслей и образов мелькнуло перед ним дергавшееся веко Олега Плахтина, мысль о котором Терехов, несмотря на все соображения, не мог выбросить из головы. «Будешь теперь искать в нем...» – проворчал Терехов и подумал тут же: «Вот бы Севка скорее вернулся, вот бы Севка...» Он понимал, что Севкин приезд ничего не изменит и ни в чем Севка не сможет помочь ему, но его почему-то утешала мысль о мужском разговоре с Севкой, словно в разговоре этом можно было ему, Терехову, найти успокоение. «А-а-а! Все это детские штучки, а ты взрослый мужик! Спать надо!..» Терехов снова прислушался к Сейбе, и его поразила тишина, неожиданная и ватная, тишина радиорубки, черной комнаты с обитыми стенами. «Неужели кончился дождь и ветер стих, неужели?..» И Терехов понял, что сейчас он уснет, успокоенный тишиною, и он заснул на самом деле, и последние его мысли были о Севке, о том, как было бы хорошо, если бы Севку отпустили на Сейбу...

10

- Терехов! Терехов!
- А?
- Вставай, Терехов!
- Я проспал?
- Ночь еще! Что делается-то!
- Что? Где?
- Ветер...
- Кинь сапоги...
- Сосну, знаешь, которая у крыльца...
- Ну?
- Начисто. Поломал.
- Сосну?
- На крышу бросило...
- Мне война снилась...
- Она и упала, как бомба... Тайгу, наверно, пометелит ветерок, понаделает буреломов...
- А-а, черт! Всегда с этими пуговицами...
- Свет зажечь?
- Не надо, глаза лучше привыкнут.
- И дождь со снегом... Для разнообразия...
- Пошли...
- Плащ-то надень...
- Да, плащ...
- Сколько на твоих светящихся?
- Три часа, четвертый...
- Уже светать пора, а такая темень...

Шагали по коридору, ступали тяжело, шуршали плащами, как будто сухие дубовые листья в весеннем лесу давили. Маленький, плотный, спешил рядом с Тереховым Рудик Островский, электрик и комсорг их поселка. «Спокойной ночи, спокойной ночи, – пришепывал он, – до полуночи, а с полуночи кирпичи ворочать...» Привязалась к нему эта детская приговорка и отстать уже не хотела. Шумно было в коридоре, выскакивали из комнат разбуженные парни, шутили и орали, слова находили грубоватые, ветер желая попутать, да и сами старались оправиться от испуга. Дергали Терехова за рукав и спрашивали о чем-то, но он махал рукой, давал понять, что он сам еще ничего не видел и проснуться как следует не успел.

Небо все же синело, и сопки надвигались отовсюду мрачно, как танки. Черный снег падал и падал и таял на лице Терехова. Сосна, корни пустившая пол крыльцо общежития, лежала на крыше, и ветви ее шевелил ветер. Ствол ее ветер перекусил, наверное, слом был неровен и клыкаст. Высыпали за Тереховым все из общежития, одетые наспех, с черными булыжными лицами, стояли молча, смотрели. Валили люди из других домов и у крыльца застывали в синеве.

- А ветер-то стих, – сказал Терехов.
- Ураганом прошелся.
- Петляет, еще вернется...
- Улеглась она аккуратно, – зло сказал Терехов. – Труба ее держит.

Все думали о сосне и уже высказывали соображения, как ее сбросить, а Терехов хотел лезть на крышу, но тут он подумал, что сосна эта, может быть, только цветочки и надо пройти по поселку и поглядеть, нет ли ягодок. Он отыскал в толпе Сергея Кислицына, принявшего исполюновскую бригаду, и сказал ему: «Займись ею». Кислицын кивнул и сразу же послал парней за топорами, пилами, слегами, проволокой и веревками. Было бы просто дернуть сосенку трактором, но тракторы сейчас мирно спали в автобазе за Сейбой, в Сосновке. Терехов шагал к столовой и к стенам завтрашнего клуба и слышал, как шумели у крыльца ребята, словно очнувшиеся от оцепенения, разбуженные делом. Терехов и сам чувствовал, что его собственная растерянность исчезает и испуг вместе с ней. Рудик семенил за Тереховым, иногда прыгал, потому что шаги у Терехова были большие и быстрые, и еще несколько парней спешили за ними.

– Так, – остановился Терехов, – так.

Три столба валялись на земле, один за другим, очень вежливо уложенные ветром, а провода были запутаны и порваны.

– Так, – обернулся Терехов к Рудiku, – значит, свет у нас не горит и по телефону поговорить нельзя...

– Я даже выключателем не шелкнул, не проверил, – смутился Рудик, словно он и был виноват во всей этой истории, недоглядел.

– Поставить их не трудно, – сказал один из парней.

– Думаешь, только эти валяются? – разнервничался Рудик.

– Дальше, – позвал Терехов.

С крыши третьего общежития ураган сорвал пару листов кровельного железа и, поиграв с ними, отбросил их к столовой. Свалены были деревья за дорогой, ели, вовсе и не хилые, а те, что попались ветру на глаза, и он покуролесил над ними. Легонькую березку подбросил вверх, зацепил ее за еловые ветви и так оставил болтаться. «Все же надо повырубить деревья в поселке, – подумал Терехов, – красота красотой, а все грязи поменьше будет да и крыши целее...» По мысль эта была мимолетная, она ушла, как и пришла, и другие мысли мелькали и уходили, оставляя, однако, о себе зарубки, а тревогой жила в мозгу Терехова одна – о Сейбе и мосте. Он и шагал теперь к Сейбе, не оборачивался, слышал, как сзади шлепались в грязь Рудик и парни, как они матерились и потом бежали, догоняя его. Спустившись по съезду, встали в березовой рощице, дальше идти было нельзя, Сейба захватила дорогу. Темень, уплотненная сыплющимся снегом, скрывала мост, и пробираться к нему было бессмысленно. Постояли с минуту, хотя и не видели ничего, и Терехов сказал:

– Придется подождать рассвета.

– Столбы и тут свалены, – расстроился Рудик.

Провода тянулись по земле и ныряли в шумящую воду.

– Ну пошли, – сказал Терехов.

Наверху с сосной еще возились, лапы ей пилили и топорами их сшибали, а толстые канатные веревки и проволочный трос уже оплели ее комель, и внизу ребята держали их концы, как звонари, ждали сигнала, чтобы дернуть медные языки, колоколами заглушить разгулявшуюся Сейбу. Кислицын махнул рукой, и звонари стали бурлаками, «Дубинушку» вспомнили, «зеленая сама пошла», Терехов не удержался, подскочил к ним, и ему без слов передали трос, а потом, когда подправленная слегами сосна сползла вниз, получилось так, что Терехов первым подставил под нее плечо и осел, крикнув, поволок ее вместе с парнями поздоровее, руки его ощупывали деревянные клыки слома, у обочины дороги посчитали для приличия: «Раз, два! Уронили!», сбросили сосну в грязь. Руки ныли, под дождем бинты у Терехова стали мокрыми, и надо было пойти к Илге и сменить их.

– На дрова пустим, – предположил Кислицын. – Лето у нас по печке скучает.

– Лучше ее тут оставить, – задумался Чеглинцев. – Вечерком, знаешь, на ней покурить или на солнце погреться.

– Тебе-то что, – сказал Островский, – тебе-то какое дело до нашей сосны... Будешь в своей Тмутаракани загорать...

– А ты помолчи, – разозлился Чеглинцев.

– Был бы тут Севка, – сказал Терехов, – он бы все объяснил, что никакой Тмутаракани нет, была когда-то, а теперь на ее месте Тамань, деревушка и Черное море рядом плещется...

– Помолчал бы он, этот Рудик-то, – проворчал Чеглинцев, – мы свое тут сделали, и дом этот, на который сосна свалилась, мы ставили...

– Знаем, слышали...

Вернулись к общежитию, народ все толпился у крыльца, покуривал и шумел понемножку, лица чуть светлели в синеве, и глаза блестели, и были они встревоженные, словно у людей во влахермском бомбоубежище, которых Терехов запомнил навсегда.

– Дело плохое, – сказал Терехов, – день будет трудный. Света нет, связи тоже... Что с мостом, пока не видно, но всякое может быть... – В душе он считал, что с мостом все обойдется, но говорить людям бодрые слова не хотелось, лучше, если они будут подготовлены к беде. – Может, и отрежет нас Сейба от Большой земли...

В толпе шумели, все были возбуждены и все желали делать что-нибудь штурмовое.

– Вот что, – сказал Терехов сурово, – всем сейчас спать. До семи. Сейчас четвертый. Я не шучу. Нет хуже вареных, неспавшихся людей. День будет трудный.

Все были недовольны, Терехов это чувствовал, парни шумели, и фонарики нервно покачивались прямо перед его глазами, слепили их, и Терехов шурился. «Это глупо, кто же сейчас заснет», – слышал Терехов; на самом деле распоряжение его могло казаться неразумным, но он знал, что не откажется от своих слов, потому что был убежден в их необходимости.

– Я прощу всех быть спокойнее и идти спать, – сказал Терехов глуше. – В конце концов я приказываю это сделать. Я и сам пойду сейчас спать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.